

Книжная серия
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
Выпуск 4

*Книга – это событие,
Интернет – это будни.*



Книжная серия «Первый полет» призвана знакомить читателей с новым поколением русских поэтов и писателей Эстонии.

Издатели:

Эстонское Литературное Общество (EKS)

Воздушный змей - русская литература Эстонии (TVZ)

Художественное оформление серии Марек Аллвеэ

П.И.Филимонов
ЗОНА НЕЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ

Роман о манипуляции

Тарту 2007

П.И.Филимонов. Зона неевклидовой геометрии. Роман о манипуляции:
Роман, 2007. – 112 с. – Серия «Первый полет», вып.4. Тираж 400 экз.

Редактор Безфармашинов

Сборник выпущен при поддержке фонда Eesti Kultuurkapital
Типография Bookmill, Тарту, Эстония

© П.И.Филимонов

© EKS, 2007

© TVZ, 2007

ISBN 978-9949-13-968-2

ЗОНА НЕЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ

Моё имя не скажет вам ничего, поэтому и называть его бессмысленно. Моё прошлое до настоящих событий – что рассказать о нём? Да и стоит ли? Прошлое не имеет никакой связи с будущим, как мне кажется. Даже связи его с настоящим весьма призрачны. Возможно, функционально моё прошлое и привело меня к тому, что будет изложено ниже. А с другой стороны, вполне вероятно, что и нет. Не стоит на нём задерживаться, «заикливаться», как сказал бы один мой знакомый поэт.

Так что я ничего, пожалуй, не буду говорить о себе. Самоустранюсь. С другой стороны, полностью у меня это едва ли получится, потому что текст всегда рассказывает что-то и своём авторе, и, я не исключаю такой возможности, что по моему сбивчивому рассказу можно будет что-то сказать о свойствах моей личности и даже подробностях биографии. И, в принципе, нельзя сказать, что меня это так сильно беспокоит. Но нельзя и сказать, что мне совершенно всё равно, что я такой титан духа, что меня не волнуют внешние эволюции вокруг моей драгоценной персоны. Если бы было всё равно, я не писал бы нижеизложенное. Скажу только, что мне частенько бывает сложно общаться с окружающими меня людьми. Не потому, опять-таки, что я, допустим, чувствую их глупее себя или хуже в чём-то. А потому, что мне всё время кажутся разные вещи. Я, видите ли, мнительный. А именно, мне кажется, что они говорят не о том. Мне очень часто такое кажется. Что люди, населяющие мою личную вселенную, говорят не о том, о чём надо говорить в данной ситуации, не так, как того требует данная ситуация, и вообще хотят сказать совсем не то, что говорят. Другими словами, я сейчас вам открою одну тайну, до которой я сам додумался. Мне свойственно размышлять.

Люди, по моему, не умеют разговаривать. И дело тут не в языковом барьере, как можно легковесно предположить. И не в дефектах дикции или преодолении семантических табу. А вот просто – не умеют. Сравнить это можно, допустим, с плаванием. Если меня бросить в воду и сказать, что до берега, который находится на расстоянии, скажем, двух километров, мне нужно добираться вплавь – и другого выхода у меня элементарно нет – я, конечно, поплыву. Не факт, что доплыву, но стараться, во всяком случае, буду. Но допустим, рядом со мной бросили в воду Александра Попова и сказали ему то же самое. И вот если сравнить, то, что буду делать в воде я (пока не потону, ибо фатум), с тем, что рядом со мной – далеко впереди меня, если быть окончательно точным, будет делать Александр Попов, то есть, с настоящим

плаванием, то вот тогда и можно понять разницу между тем, что на самом деле является разговором, и тем, что досужие окружающие, как правило, под этим понимают.

Я, видите ли, плохо плаваю.

Да, и сравнение лучше всего произвести с высоты птичьего полёта. То есть и мне – для наглядности – придётся как бы уйти вверх от происходившего в трёх разных комнатах в разное время. Считайте, я воспарил и оттуда, сверху, описываю эти ничего не значащие случаи. Потому что тут нет всемирных катастроф или там несчастной любви. Нет суицидальных девок семнадцати непорванных лет или прыщавых юношей с претензией на мессиянство. Всё это быт, друзья мои, возможно, чуть отравленный паранойей наблюдателя (меня) – потому что я ничего не отрицаю, ничего, ничего не отрицаю. Я не совсем спокоен за свой мозг, если быть до конца откровенным.

Но к делу.

Итак, сцена первая. Сцена первая имеет место быть в интерьере квартиры. Собственно, как будет видно потом, сцена вторая и третья имеют место быть тоже в интерьерах квартир. Для разнообразия представим дело так, словно бы всё это происходило в разных квартирах. В трёх разных квартирах, да. Ведь неважно, правда же, как это всё происходило на самом деле? И происходило ли вообще. Ведь мы тут собрались не для обсуждения реальности. Не знаю, как вы, а я точно не за этим тут собрался. Я собрался, чтобы предупредить вас. Если, конечно, вы хотите внимать и быть предупреждёнными. Потому что апокалипсис, уважаемые, совершается сию секунду на наших глазах. И отнюдь не при помощи разнообразных полных звёзд он совершается, а совсем при другой помощи.

Комната первой сцены представляет собой комнату. На стене висит большой прямоугольный ковёр, возможно, какого-нибудь бухарского происхождения. На нём развешаны кинжалы и сабли, не чрезмерно, но так, чтобы бросались в глаза. Это не для того, чтобы подчеркнуть воинственность хозяев квартиры, а чтобы показать досужим постояльцам, что хозяева чтят память своих предков, некогда воевавших на Кавказе неизвестно за что. По преданию, давний предок хозяина квартиры был, в частности, лучшим корешем Лермонтова Михаила Юрьевича, невестребованного русского стихотворца, известного, пожалуй, только поеданием вишен в неумеренных количествах, от чего и умершего в расцвете юных лет. Кажется, не то девятнадцать ему было, не то двадцать. Ехал он себе на машине из Риги в Юрмалу и жрал вишни. Но поперхнулся косточкой и стал откашливаться. Стал откашливаться и отвлёкся от дороги. А навстречу ему перегонял фуру дальнбойщик Марты-

нов. И привет. И Мартынова оправдали потом, потому что не фиг кашлять за рулём. А ущербные поклонницы Лермонтова потом плакали, несли на могилу кульки с вишнями и писали на стенах парадных и непосредственно на отрогах Кавказских гор большими буквами «Миша жив». Но всё это было после, а в то время, когда ещё и вправду живой Миша отдыхал в Кавказских здравницах, сдружился он с предком хозяина дома, который теперь браво сидел за столом и разливал гостям «Киндзмараули», ласково улыбаясь. Супруга его, молодая жена Танечка, сидела тут же и улыбалась не менее ласково и даже чуть более зазывно и провокационно, так, словно бы намекала, что если бы не хозяин, Антонов по фамилии, то она бы по-другому встречала гостей. Они поженились совсем недавно, что-то вроде года назад, и представляли собой идиллическую пару воркующих голубков. Не считая, конечно, танечкиных зазывных улыбок, ради которых, кажется, я лично сюда и пришёл. Кроме них присутствовала ещё одна пара, Мальцевы. Эти имели более солидный срок семейной жизни и успели обзавестись дитём на радость бабушкам и дедушкам, с которыми оно – дитё – в данный момент и пребывало в счастливой нирване ничегонеделания. Наконец, была ещё третья пара, но разрозненная. В том смысле, что Виктор Соловейчик, которого все отчего-то называли Виктор, и богемная девушка Жанна состояли в браках, но не между собой, а порознь, и половины их не присутствовали на заседании. Ели сыр и пили вино.

Кроме того, ещё был и я. Единственный холостяк на женатой вечеринке. Не будем вдаваться в детали, но таковы факты. Повода, по которому мы собрались именно таким коллективом, не помню. Из всего общества я знал всех, но плотно общался только с четой хозяев. Остальных знал через них, хотя богемную девушку Жанну встречал ещё и отдельно, в некоторых совместных богемных компаниях, куда, в свою очередь, попадал не помню как и зачем. Вероятно, из желания приобщиться. Впрочем, всё это совсем не так важно, а важно то, что всех этих людей я знал, в общем, плохо. Даже включая и хозяев. Поэтому их разговоры я слушал как-то отстранённо, не потому, что мне не о чем было с ними говорить, совсем нет. А просто потому, что так бывает, когда малознакомый человек затешется в компанию людей, достаточно хорошо друг с другом знакомых, между которыми давно и прочно установлены какие-то связи, какие-то невидимые нити протянуты, и даже им не нужно в разговорах полностью обозначать вербально всю ту информацию, всю ту тему и рему (как учили меня, начитанного, в моём вузе), которой они хотят поделиться, многое понятно им из контекста, а другое они додумывают из самого хода, самого течения разговора. А вот этот малознакомый, «не свой», сидит себе молча в углу и, пока не отпустит ему тормоза алкоголь, не решается вступить в беседу.

И между ними, как писали Гамсун и позже Хармс, «происходит следующий разговор»:

– Нужно любить деревья, – манерно и в нос говорила божественная девушка Жанна, неестественно держа в воздухе руку с дамской сигаретой в тонком божественном мундштуке. – Не просто абстрактную природу, зверушек разных, а деревья. Вы подумайте, ведь животных любить легко, они такие миленькие, пушистенькие, забавные часто.

– Ага, особенно, например, крокодилы пушистые, – парировал Виктор, выполнявший в этой компании роль записного анфантеррибля, который, оглянитесь, всегда неизбежно присутствует в любой конгломерации людей. Часто это поза, а часто – сама группа исторгает подобного субъекта из себя, чтобы снять искрящее напряжение, которое, в противном случае, могло бы, чего доброго, привести к несанкционированному возгоранию. – Или, я не знаю, осьминоги пушистые. Или летучие мыши.

– Виктор, ну ты явно передёргиваешь. Откуда в тебе эта потребность? Ты же прекрасно понимаешь, что я хочу сказать, – продолжала Жанна, затягиваясь и неестественно держа руку в воздухе.

– Если честно, не совсем понятно, к чему ты ведёшь? – признался Мальцев, задумчиво вертя в пальцах кусок сыра.

– Я хочу вам показать, что верх человечности – это любовь к деревьям. Не в абстрактном каком-то смысле, а совершенно вот как есть, буквально.

– Подожди-подожди, – вмешался Антонов, обнимая за плечи молодую жену Танечку, перед которой он, очевидно, до сих пор по инерции несколько рисовался. – Вот я люблю деревья, и что? Совершенно искренне люблю? Я от этого как-то лучше становлюсь? Каким-то другим человеком становлюсь?

– А как именно ты их любишь? – спросила Жанна, неестественно держа руку с мундштуком.

– А что, существуют какие-то особые техники? – не выдержал Соловейчик. – Какие-то позы особенные?

– Виктор, не прикидывайся животным, – устало отмахнулась Жанна. – Не всё же сводится к сексу. Если хочешь, мы потом отдельно о сексе поговорим.

– Конечно, хочу, – обрадовался Соловейчик.

– Я пока о другом. Андрей, а ты как-то показываешь свою любовь к деревьям?

– Нуу... нет, – поразмыслив, ответил хозяин квартиры. – Я просто смотрю на них, и они мне нравятся. Могу подолгу смотреть. Не надоедает.

– А по-моему, – встряла молодая жена Танечка, окидывая присутствующих томным взглядом, – ты именно что показываешь свою любовь. Ты же их рисуешь. Он рисует пейзажи, – пояснила она уже персонально для Жанны. – Это считается?

– Какое чудо, – умилилась Мальцева. – Покажешь?

Некоторое время Антонов отнекивался, его, соответственно, упрасивали. И вот он принёс тонкую стопку листов, на которых, действительно, были изображены пейзажи и прочие рисунки в разных техниках. Чаще всего попадался карандаш, далее, по убывающей, шли акварели, пастель и цветные мелки. Изредка проскальзывало что-то поавангарднее, вроде угля или сангины. Больше всего в стопке было пейзажей разной степени лесистости. То одинокое дерево осенней порой с облетевшими листьями, то берёзовая роща, в достаточно традиционной манере Левитана-Грабаря, то тёмный еловый бор с грибами и грибниками. Кроме пейзажей, также попадались сюрреалистические зарисовки, какие-то воткнутые в людей вилки, портреты и пара ню-изображений молодой жены Танечки, которые, впрочем, сама же модель, смутившись, быстро убрала. На некоторое время разговор прекратился и все, не исключая и меня, почтительно передавали друг другу листы, многозначительно вглядываясь и время от времени издавая нечленораздельные одобрителные звуки.

– По-моему, весьма профессиональные работы, – резюмировала Мальцева, которая раньше, до рождения ребёнка, имела какое-то отношение к искусству, не то вращалась в кругах художников, не то сама что-то писала, не помню. – Ты где-то учился?

– Ну да, – оскорбился, как мне показалось, за друга Соловейчик. – Он художественную школу закончил. Хотел в академию даже поступать, но раздумал.

– И теперь просто для себя рисуешь? – спросила Мальцева.

– Ну, в основном, да, – сказал Антонов. – В основном, для себя.

– Но это же неправильно, – вторглась в разговор богемная девушка Жанна, неестественно держа руку в воздухе, уже не с мундштуком, а с одним из антоновских рисунков. – Каждое самовыражение лишь тогда действительно хорошо, когда оно стремится найти выход наружу и перестать быть самовыражением как таковым, а стать чем-то большим.

Антонов как-то сконфузился. Я же, честно говоря, даже обрадовался. Но радость моя была недолгой.

– Вот наш ребёнок, – гордо вставил Мальцев, – тоже неплохо рисует. Мне кажется, что у него есть задатки.

– А вы не пробовали показать его специалистам? – поинтересовалась молодая жена Танечка, зазывно взглянув на Мальцева, но не выпуская между тем из рук руку своего молодого мужа, хозяина дома и ковра. – Сейчас, я слышала, многие известные художники дают мастер-классы и вообще учат детей. Вот этот, помнишь, нам говорили, ну, как его... – теперь она обращалась – и голосом, и интонационно, и пальцами – уже непосредственно к своему молодому мужу.

– Тимирязев, – подсказал Антонов, бывший в курсе событий в мире живописи, в силу того, что его некоторым образом обязывало к этому положение.

– Да-да, именно Тимирязев, – обрадовалась Танечка, бросая, на всякий случай, зазывный взгляд и на меня.

– Ну нет же, – страдальчески скривилась богемная Жанна. – Мастер-класс это совсем не то. Мастер-класс это когда приходят люди, которые умеют сколько-то рисовать, или считают, что умеют, и художник – мастер – показывает, в какую сторону им надо развиваться и так далее. Вот Антонову твоему как раз хорошо бы на мастер-класс сходить, если, конечно, он хочет своё хобби дальше куда-то развивать.

– Да дорогое это, должно быть, удовольствие, – сказал Соловейчик. – Если художник, как вы говорите, известный. Сколько, интересно, это может стоить?

– Не знаю. Совсем не знаю, – сказала богемная Жанна, не убирая с лица страдальческого выражения. – Но хороший художник стоит того, согласись.

– А что сейчас дешёвое? – неожиданно поддержала её Мальцева. – В магазин сходить – всё дорого. Подгузники одни едва не четверть зарплаты съедают. То есть это в наше время съедали, пока Петька их ещё носил. А сейчас, я так понимаю, ещё дороже.

– Хоть детей не заводи, – тускло вздохнул Антонов.

– Ну чего ты пугаешь, – махнул рукой Мальцев. – Чего не заводи? Всяко, друзья есть, помогут. Мы вон коляску вам можем подарить.

– Даже две, – с готовностью подхватила Мальцева.

– Какие это две? – не понял её супруг. – Откуда две?

– Ну как, – стала пояснять Мальцева. – Одна у нас в подвале стоит, большая, для совсем мелкого, когда Петька ещё сидеть не мог, классическая такая, большая.

– Тёмно-синяя? – уточнил для чего-то Соловейчик.

– Ну да, тёмно-синяя, – сказала Мальцева.

– Я тебя просто с ней видел, – объяснил Соловейчик, чтобы никто, не дай бог, ничего не подумал.

– Ага, это одна. А вторая меньше и компактнее, когда Петька уже сидел, – рассказывала дальше Мальцева. – Наверняка, видели такие. Такая она, диагональная что ли.

– Ааа, помню, – протянула молодая жена Танечка. – Сидячая.

– Ну да, сидячая, – подтвердила Мальцева. – Вот две и получается, – попрекнула она мужа. – А ты говоришь.

– Не надо пока, наверное, коляски, – сказал Антонов. – В принципе, мы, конечно, планируем, но не сейчас ещё. Тане нужно университет закончить, – он значительно выделил голосом слово «университет».

– Университет – дело серьёзное, – я долго думал, как бы я мог подключиться к разговору, и не придумал ничего умнее, чем вставить эту фразу. Услышан я не был.

– А вообще дорогое удовольствие – детей сейчас иметь? – поинтересовалась богемная Жанна, неестественно держа руку в воздухе на отлёте.

– Ну ты даёшь! – засмеялась Мальцева. – Мы же только что об этом говорили.

– Да? Ну, наверное, я была в своих мыслях. Вот так со мной часто. Задумаюсь о чём-то своем – и совсем не слышу, что вокруг происходит. Совсем. А всё же хотелось бы знать.

– Мы не подсчитывали настолько детально, – пришёл жене на помощь Мальцев. – Но, в общем, недёшево, если честно. Не сказать, что мы себе совсем во всем отказываем, но кое в чём ограничиваем, да.

– Не ходили никуда уже три месяца, – удручённо вздохнула Мальцева. – Я бы вот на юмориста какого-нибудь сходила. Задорнов приезжал, чего мы не пошли? И ребёнок с бабушкой был, и время было.

– Ты знаешь, сколько билет стоит на Задорнова? – спросил Мальцев.

– Да ну его, – поддержал приятеля Соловейчик. – Он давно ничего умного не говорит. Старые шутки, а из нового мутотень одна, не смешно.

– А что тебе смешно? – обиделась за Задорнова молодая жена Танечка. – Петросян тебе смешно?

– Петросян – это вообще за гранью добра и зла, – поведал Соловейчик с горячностью. – Мне мистер Бин нравится. Вот на него я бы сходил с удовольствием.

– Да нуууу, – протянула Мальцева. – Кривляется и только. Он похож на злобного гоблина.

– Простите, – вмешалась богемная Жанна, поправляя богемный шарфик. – А кто такой мистер Бин? Я как-то не в курсе.

– Да знаешь ты, – сказал Антонов. – Наверняка знаешь. Столько раз его по телевизору показывали. Это комик такой английский. Как же его зовут-то? Блин, вот вертится на языке, а не вспомнить.

– Роуэн Аткинсон, – подсказала молодая жена Танечка, которая училась на четвёртом курсе английской филологии и на роуэнах аткинсонах съела собаку.

– Ага, спасибо, – поблагодарил её Антонов и чмокнул в щёчку. Молодая жена Танечка томно посмотрела на Соловейчика и меня, поочередно.

– А что, – сказал на это Соловейчик, – вам не кажется, что мы все уже выпили, а вечер ещё только начинается.

– Ты добавить хочешь? – заволновался Антонов, как всякий хозяин, на территории которого происходят посиделки.

– Ну, если никто не против. Уютная компания, домой совсем не хочется, на работу завтра лично мне не надо.

– Почему бы и нет? – поддержала его богемная Жанна, держа руку неестественно на отлёте и, в подражание молодой жене Танечке зазывно глядя на Соловейчика. – Мне тоже не надо. Я могу денег дать.

Удивительное дело, почему-то всегда у самых богемных в самый неожиданный момент оказывается наибольший порядок с финансами. Мне завтра на работу надо было, но я промолчал.

– Я могу сходить, – вызвался Мальцев, под неодобрительным взглядом жены. – А то у меня как раз с финансами туго, так я свой труд, так сказать, вложу, в общее дело.

– Как подлинный начинающий бизнесмен, – пошутил Антонов.

Мальцева продолжала неодобрительно смотреть на своего мужа, но делегация составила окончательно, и помешать ей уже ничего не могло. Я предпочёл дать денег, потому что перемещаться в пространстве мне не хотелось. Я вообще не люблю излишние перемещения. За добавочным вином отправились Мальцев, дружественный ему Соловейчик и самостоятельная богемная Жанна, временно переставшая держать руку неестественно, а занявшаяся подкрашиванием губ.

В квартире остались хозяева, Мальцева и я. Молодая жена Танечка принесла свадебные фотографии и стала их показывать Мальцевой, которая на свадьбе не была и ничего этого не видела. Я на свадьбе был, всё это видел, но изображал интерес и принимал участие в передаче фотографий из рук в руки, причём молодая жена Танечка иногда ненароком трогала меня ногой. Антонов комментировал. Мальцева улыбалась и восторгалась платьем, фатой, букетами, богатством стола. Я делал вдумчивое лицо.

– А что, мальчики, – обратилась вдруг к нам с Антоновым молодая жена Танечка, ещё не завершив просмотр последней порции фотографий. – Может, музыку включим?

– Давай, – согласился Антонов. – Что ты хочешь?

– А что у нас есть? – спросила Танечка и начала перебирать семейные компакт-диски.

Мальцева, досмотрев фотографии, отправилась составлять ей компанию. Они зажурчали в другой комнате о чём-то своём.

– Покурить не хочешь? – предложил мне Антонов.

– Хочу, – согласился я.

Мы вышли на балкон и молча закурили. Девушки в комнате перебирали диски с музыкой, ставя их один за другим на звукозаписывающую и так же поспешно снимая оттуда в сопровождении своих по большей части язвительных комментариев. В конце концов, они, похоже, остановились на радио. Как это обычно и бывает.

– А вон там – это что? – спросил я, указывая рукой вдаль.

– Это? Это коток, что ли строят, – ответил Антонов. – По-моему, коток. Таня! – крикнул он в комнату, – это у нас ведь коток строят? Коток? Или не коток?

– Коток, – отозвалась Таня. – Точно, коток.

– Коток, – довольно транслировал мне Антонов.

– Ага, – сказал я. Мы потушили сигареты и вернулись в комнату.

Практически сразу вернулись возбужденные походом Соловейчик, Мальцев и богемная Жанна, производившая руками в воздухе не совсем понятные, но оживлённые жесты. Соловейчик снял со спины рюкзак и все трое

пришедших, а так же и трое встречающих – за исключением меня – стали его потрошить. Принесено было: ещё несколько бутылок разнообразного вина и эстетских закусок, как-то: сыр с плесенью и без, оливки зелёные, оливки чёрные, бастурма.

– Ну, у нас просто пир горой сегодня, – обрадовалась молодая жена Тачечка.

А я стал думать, кто же не пожалел денег на всё это великолепиие. Потому что скидывались-то мы скидывались, но ни одного скидывания не хватит на такой королевский стол. Видимо, те же мысли завладели и Мальцевой, потому что она отвела Мальцева на кухню и что-то там достаточно злобно на него шипела. Антонов вымыл стаканы, принёс ещё тарелок и мисок, куда было выложено пищевое изобилие, и мы продолжили выпивать, закусывать и разговаривать на разные интересные темы.

– Сейчас на улице мужик какой-то пристал, – рассказывал только что пережитое Мальцев. – Какой-то бомж, не то не бомж, подозрительный какой-то мужик. Хотите, говорит, я вам чипсов подарю?

– А вы что? – весело спрашивал Антонов.

– Да нет, он Виктора увидел, и сразу успокоился.

Соловейчик, действительно, был мужчина мускулистый и внешне солидный. В тёмное время суток в тёмном же переулке встретиться с таким лично я бы не хотел.

– Хорошо вот так компанией ходить, – поделилась богемная Жанна, которая теперь держала руки под муфтой. Она надевала муфту, когда ходила за вином, и пока ещё не сняла её, держала под ней руки, для пушей, видимо, богемности. Только вынимала иногда, чтобы поднять бокал и поднести к своему богемному рту. – А то я вот когда одна хожу, со мной всякие истории случаются. Вот вроде этой. Кто-нибудь подходит и что-то такое спрашивает. А я иду, и не смотрю по сторонам. В своих мыслях каких-то вся такая. И вот они подходят. Довольно страшно иногда становится, если честно.

– И о чём это ты таком думаешь, интересно? – спросила Мальцева, которая как-то всё пыталась пикироваться с богемной Жанной, не очень, впрочем, удачно, потому что богемная Жанна не замечала её попыток.

– Ещё интереснее, о чём таком они тебя спрашивают, – вмешался остроумный Соловейчик.

– Да ерунду всякую, ну, пристают они.

– Интересно, всё же, как они пристают именно к тебе, – настаивал Соловейчик.

– Да я думаю, так же, как и ко всем другим, – сказала молодая жена Тачечка, и стало непонятно, то ли она специально захотела богемную Жанну обидеть, то ли само так вышло. – Вот ты, например, Виктор, какими словами к девушкам пристаёшь?

– Я к девушкам не пристаю, – открестился Виктор. – Я человек семейный, зачем мне какие-то девушки.

– А если ты такой семейный, – сказала Танечка, то почему тогда свою жену в гости не привёл? Сам пришёл, а жена дома сидит?

– У неё тоже какие-то посиделки с подругами, – ответил Соловейчик. – У нас в этом смысле всё честно. Вы не думайте, чтобы там я чего.

– Да никто не думает, – замахала руками Мальцева, питавшая видную мне невооруженным глазом симпатию к Соловейчику и (в глубине души), может быть, и предпочтшая бы его своему среднестатистическому мужу. Соловейчик брал хотя бы габаритами. – А вот раньше, пока ты Надю не встретил, ты ведь как-то приставал к девушкам?

Надя была Соловейчикова жена. Я её никогда не видел.

– Ну, приставал, все же пристаю, – сказал Соловейчик. – Все, пока не встретят человека, к которому потом насовсем пристанут, до этих самых пор и пристаю.

– Ты, Виктор, каламбурист, однако, – по-другому посмотрела на Соловейчика богемная Жанна, которая снова начала держать руку на весу, и неестественно.

– Кто? – автоматически спросил я.

– Каламбурист, – пояснила Жанна. – От слова «каламбур».

– А, – сказал я.

– Так вот как ты приставал-то? – Мальцева завелась от этой темы, даже глаза её загорелись, видимо, очень давно к ней никто не приставал как следует. А может быть, наоборот, нахлынули приятные воспоминания о приставучей молодости. Не знаю.

– Да как, по-разному... Ну, совершенно по-разному. От ситуации всё всегда зависело, – сказал Соловейчик.

– А давайте играть! – вдруг, хлопнув в ладоши, звонко предложила молодая жена Танечка. – Пусть каждый расскажет историю своего самого необычного уличного знакомства.

– А если я на улице не знакомлюсь? – спросила Мальцева, и тут же сама себя поправила. – То есть, не знакомилась, – чем, понятно, окончательно всё запутала.

– Ну, не на улице, ну в ресторане, в кабаке, наверняка же было что-то подобное, ну, раньше, ну, пока не замужем была, разумеется, – допытывалась Танечка, зазывно окидывая пространство влажными глазами.

– А в чём смысл игры? – спросил Мальцев. – В игре бывают победители и проигравшие. Как мы будем определять?

– Ну, ну, ну вот же очень просто, – быстро нашлась Танечка. – Мужские истории девочки будут оценивать, вот хоть на бумажках баллы писать, чтобы было совсем по-честному. А женскую – соответственно, вы оцените.

Стали разрабатывать шкалу оценивания. Решили оценивать по десятибалльной системе, и простым арифметическим сложением суммировать

баллы. Таким образом, максимальное количество баллов, которое мог набрать мужчина, равнялось 30, а девушки могли дотянуть даже до 40. При оценивании решили принимать во внимание правдоподобность истории, необычность обстановки и степень неожиданности самого знакомства.

Решили, что первыми должны рассказывать мужчины. И по общему настоянию собравшихся дам, начать душераздирающий сеанс откровений должен был Соловейчик.

– Что я вам такого расскажу, – сказал скромный Соловейчик. – У меня всё дело-то в чём? Всё дело у меня в том, что я слишком непосредственный. Вот вижу красивую девушку и обязательно что-нибудь ей скажу. Так всё и происходит.

– Ну а самая-самая пикантная история? – не унималась Мальцева.

– Да вот на ум что-то ничего не приходит, – пожаловался Соловейчик. – Вот разве что как-то раз я ехал в автобусе. Смотрю, девушка стоит с футляром от скрипки. Не то, что от скрипки, а побольше, какой-то инструмент там у неё. Как там они называются? Вот есть скрипка, а есть?

– Альт, – подсказала, разумеется, богемная Жанна, богемно закуривая через мундштук. – Потом виолончель. Ещё есть виола-да-гамба. Наконец, контрабас.

– Контрабас-то я отличу, – задумался Соловейчик. – Ну вот, кто-то из них был. Либо альт, либо виолончель. Погодите, на виолончели же Ростропович играет, да? Она такая, здоровая, я правильно помню? Значит, всё же альт это был.

– В конце концов, это неважно. Продолжай, – подбодрил запутавшегося приятеля Антонов.

– Так вот. Пусть альт. Я сижу, она стоит. Мне стыдно стало, а больше девушка понравилась. Красивая девушка. Я говорю, давайте, я инструмент подержу, тяжёлый он, наверное. Она отвечает, я свои инструменты кому попало не доверяю. Я говорю, это правильно, я свои тоже не доверяю. Она на меня посмотрела скептически, и спрашивает, а у вас что, есть инструменты? Я говорю, ну в некотором роде.

Мальцева сдавленно захихикала и покраснела.

– Да блин, я же не в том смысле совершенно, – стал оправдываться Соловейчик. – У меня, правда, губная гармошка и варган есть. Я даже играть умею на них. И на гармошке, и на варгане. Вот. Она, видимо, то же самое подумала, что и вы, потому что заржала как-то по-пэтэушному совершенно, и говорит, ей такие нахалы редко попадают. А я не понял, чего я такого сказал, продолжаю сидеть себе, плююсь на неё. Потом мы вышли на одной остановке. Я её не преследовал, ничего подобного, так само собой получилось. Я в гости куда-то ехал, что ли. Разговорились, она меня на концерт пригласила. Я потом ходил. Оказалась известная музыкантша. Молодое дарование. В газетах про неё писали, между прочим.

– Так из знакомства вышло-то что-нибудь? – спросила молодая жена Танечка и зазывно поглядела на Соловейчика.

– Можно и так сказать, – потупился тот.

Дамы уважительно посмотрели на гиганта мысли. Потом Мальцева предложила, что следующим должен рассказывать её муж, и посмотрела на него уничтожающе.

Муж несколько смутился от такого взгляда родной супруги, но взял себя в руки и храбро приступил к рассказу.

– Хорошо, – начал Мальцев, как бы разгоняясь. – У меня, конечно, тоже история не так чтобы очень уж выдающаяся. Ничего, можно сказать, экстремального и особенного. Произошла она, – он выразительно посмотрел на жену, – задолго до моего знакомства с Дашей. То есть, мы тогда даже и не подозревали о существовании друг друга. И дело было в каком-то другом городе, даже не помню в каком. Где-то в поездке было дело. В Москве, кажется, точно не скажу, город был большой, это точно помню.

– Что ж ты, – попыталась съязвить Мальцева, – познакомился с девушкой, пообщался, и даже не помнишь, из какого она города была?

– Какое там пообщался, – стал оправдываться Мальцев. – Это натяжка говорить, что я пообщался. Так... В кафе сходили вместе, разве это общение?

– Стой-стой-стой, – сказала молодая жена Танечка и зазывно посмотрела (в первый раз за вечер) на собственного молодого мужа. – Уговор был, что мы рассматриваем только истории, которые имели реальное продолжение. Секс, например, или долгое общение после этого, платонически-дружеское. Один раз в кафе не считается.

– Какой секс при живой жене, ты думай, что говоришь, – замахал на неё руками Мальцев.

– Ты же сам сказал, что ещё не был с ней знаком, – сказал я.

– Не был-то не был, но я же не могу так вот прямо...

– А что, Дашка думает, что ты ей достался в девственной чистоте? – сыронизировала богемная Жанна, затягиваясь через невозможно длинный мундштук и какими-то озорными глазами глядя на Мальцеву. – Пусть она нам пообещает сейчас публично, что не будет тебя пилить за правдивую историю.

– Да, – поддержал Соловейчик. – Пусть пообещает. Все должны быть поставлены в равные условия.

Все стали голосить и наперебой требовать от Мальцевой торжественного обещания, чуть ли не клятвы кровавой. Та, в конечном итоге, подчинилась требованиям большинства, и пообещала, что никогда-никогда-никогда не припомнит мужу своему рассказанной им ныне истории.

– Тем более, – сказал находчивый Антонов, – неизвестно, что ты сама нам ещё расскажешь и кто из вас более окажется грешен друг перед другом задним числом. Хотя, конечно, глупо, считать задним числом всякие измены

и контрпреступления. Мы вот с Танечкой никогда в прошлом не копаемся. Правда, Танечка?

– Правда, – сказала молодая жена Танечка и зазывно посмотрела на меня. Настолько зазывно, что я даже покраснел.

– Если совсем честно, – помявшись, сказал Мальцев, – эта история соответствует условиям игры. – Мальцева очень недобро зыркнула на него. – Итак, дело было в Москве. Я шел по какой-то центральной улице с приятелем. А, да. По Новому Арбату я шел с приятелем. И были мы, ну... как бы это выразиться... ну, пьяные были, словом. Вот. А я в Москве был второй раз в жизни тогда, а приятель мой и вовсе первый. А писать, я прошу прощения, хочется. И некуда приткнуться. Мы молодые были тогда, лет по семнадцать или восемнадцать. Денег больших нет, в кабак зайти пописать – неизвестно, пустяк ли ещё. И вот мы нашли какую-то подворотню, и стали там писать. Писаем, значит, и разговариваем. Вдруг снизу голос. Говорит нам что-то. Я не знаю, как мой друг, а я серьёзно испугался, помню. Потом посмотрел вниз, смотрю, девушка сидит. Тоже пьяная и тоже пишет. Вот такая свобода нравов. Ну, мы разговорились на этой почве. Познакомились, словом.

Мальцев закончил и как-то виновато развёл руками под безжалостным взглядом жены. Чувствовалось, что, несмотря на все данные обещания, достанется ему позже – и ещё как достанется. Тем не менее, по моим ощущениям, Мальцев сделал весомую заявку на главный приз конкурса. А надо сказать, что, для обострения азарта, Соловейчик внёс предложение премировать лучшие истории вполне реальными денежными призами, накопившими из общих взносов в одну шапку.

Дальше очередь была рассказывать за Антоновым. Барышни что-то поместили в своих записках, поставили баллы, и вопросительно, частью зазывно, частью неестественно, уставились на Антонова. Молодая жена Танечка являла собой совершенно противоположный Мальцевой тип супруги. Она отчаянно болела за своего мужа и, наоборот, даже пыталась раскрутить его на какую-то уж излишне скабрёзную историю, из тех, видимо, что он-таки ей рассказывал о своём прошлом.

– Нет, это будет не по правилам, – отказался Антонов. – Ты ведь её уже слышала. Значит, по отношению к другим судьям, ты будешь находиться не в равном положении. А суть игры как раз в том, чтобы все были в равных условиях. И рассказывающие, и слушающие.

– По-моему, – осторожно сказала богемная Жанна, держа руку с мундштуком как статуя (если бы статуи курили), – суть игры совсем даже не в этом. Вообще, разве так уж важна суть? Мы интересно и необычно проводим время. Так что ещё надо?

– Ну, может, и так, – неуверенно согласился Антонов. – Я не знаю.

– Не тяни, давай рассказывай, – подгоняла Антонова Мальцева.

В какой-то момент мне всё это почему-то напомнило мужской стриптиз. Я, правда, ни разу подобных увеселительных мероприятий не посещал, но ассоциация сработала как-то подсознательно. Не знаю, почему.

– Да что там рассказывать, – осторожно, как и все, начал Антонов. – Я в кафе сидел. Есть у меня одно любимое кафе. Я туда часто раньше ходил питаться. Там кормят вкусно и недорого.

– А сейчас почему не ходишь? – спросил Соловейчик. – Дорого стало? На двоих-то?

– Сейчас мне жена потрясающе вкусно готовит, – достойно отпарировал Антонов. Молодая жена Танечка зазывно посмотрела на Соловейчика.

– А что дальше-то было? – спросила богемная Жанна с явным интересом.

– Сажу я, сажу, питаюсь. Заказал себе еду какую-то, не помню точно, но какую-то заказал. Суп, кажется, заказал. И второе, кажется.

– Может, ты избавишь слушателей от гастрономических подробностей, – вдруг довольно жёстко заявила молодая жена Танечка, зазывно глядя в пространство перед собой.

– Отчего же, – возразил Антонов. – На мой взгляд, это важно. Может, ты и считаешь, что это не имеет никакого значения, но, по-моему, как раз подробности и важны в таких рассказах. Нет ничего важнее подробностей.

– Рассказывай-рассказывай, – поторопил Соловейчик, совершенно не зазывно, а как-то уничижительно даже осматривая молодую жену Танечку буквально с ног до головы.

– Так вот, – продолжал Антонов. – Сажу я, значит, ем. Озираюсь по сторонам. А дождь был, надо вам сказать, немислимый. Дело было летом, но из-за дождя складывалось ощущение, что на дворе осень, и не ранняя, а где-то так середина-конец октября, промозгло и хочется как будто бы горячего вина. То есть, на самом деле, не хочется, но ощущение и погода такие, словно хочется. И так, сажу, ем. Вдруг входит девушка. Такая обыкновенная девушка, ничего себе особенного, девушка и девушка. Студентка, как я тогда подумал. Входит, садится за соседний столик и начинает меню изучать. Изучает-изучает, и видно, денег у неё немного. И кушать ей хочется, а вот не может она себе позволить развернуться и обратно свернуться. А у меня, надо вам сказать, в то лето было довольно много свободных финансов. То есть, не миллионы, конечно, но можно было себе ни в чём не отказывать, и на других тратить изрядно. И вот сажу я, ем, значит. Смотрю на неё боковым зрением. Она выбор сделала, и теперь делает заказ. Заказывает какой-то дешёвый салат. Или нет, не салат, закуску какую-то, но не горячее, словом, блюдо. Что-то такое, чем не наешься.

– Слушай, – снова прервала мужа молодая жена Танечка, – такое ощущение может сложиться, что тебя совершенно не кормят. Ты мне тут не прибед-

няйся. Как-то очень уж красочно у тебя еда выходит по рассказам. Ты ведь не голодаешь у меня, нечего врать.

– Да я не в этом смысле, – объяснил Антонов. – Я к тому, что это для антуража важно. Короче, девушка мне нравится, и я понимаю, что, если я сейчас доем, расплачусь и выйду, то всё – очередной шанс окажется не то что неиспользованным, а даже неиспробованным. Я пыхчу, тужусь, пытаюсь себя отговорить, но, наконец, не выдерживаю, поворачиваюсь к ней и спрашиваю: «Вы уверены, что вам этого хватит, чтобы наесться?» Она перепугалась вроде, я ведь явно пристаю, но улыбаюсь так обаятельно, во всяком случае, стараюсь.

В этом месте рассказа сам Антонов и все без исключения его слушатели, вовлечённые в общий эмпатический процесс, улыбнулись кто как мог обаятельно. Не знаю, как там у кого получилось, но молодая жена Танечка зазывно посмотрела в этот раз на меня. Вообще, если честно, я только подобными зазывными взглядами и пробавляюсь. А больше-то и нет ничего.

– Вот, – продолжает Антонов. – Но девушка такая, без комплексов... Не в том смысле, а просто – боевая такая, весёлая. В общем, довольно быстро смущение у неё прошло, она начала со мной разговаривать. Вполне хорошо поговорили. О дожде, помню, говорили. Вы когда-нибудь встречали девушку, с которой можно сорок минут говорить о дожде? Вот и я нет, – в тоне и голосе Антонова явно проскальзывала ностальгия. Даже молодая, зазывно на всех глядящая жена Танечка не могла поспособствовать избавлению собственного мужа от этой явной тоски по прошлому. – Вот. Потом пошли гулять. Просто – по городу. Дождь опять же был, вымокли оба, у нас ни зонта не было, ничего. Вот. Потом сушиться пошли. Ничего особенного, но почему-то запала мне в голову эта история.

– Мнда, – сказала молодая жена Танечка, – боюсь, на победителя ты не тянешь, мой дорогой. Я понимаю, что история тебе, возможно, как-то дорога и все такое, что светлый образ мокрой девушки живёт в твоём сердце и так далее, но хоть преподнеси свою грёзу ты мог бы поэффектнее.

– Ну... а чего поэффектнее, – смутился Антонов. – Я ведь не виноват, что ничего такого эффектного не было. Ну, или, может быть, я просто не могу так резко навскидку вспомнить. Может, я теряюсь в стрессовой ситуации.

– Не знаю, не знаю, – сказала молодая жена Танечка и зазывно посмотрела на меня.

В тот же момент на меня посмотрела и богемная Жанна, держа руку с мундштуком неестественно. И постепенно на меня обратились взоры всех без исключения собравшихся. Особенно мужчин. В том смысле, что их взоры как-то были для меня в тот момент особенно чувствительны. Как-то жгли кожу огнём стыда, что ли. Не знаю даже, чего здесь было такого стыдиться.

- Твоя очередь, – развязно констатировал Соловейчик.
- То есть, теперь я должен рассказывать?
- А что же, ты думал увильнуть? – как-то презрительно спросила Мальцева. – Не выйдет. Тем более, человек ты холостой, тебе всё простительно.
- Да, – томно подтвердила молодая жена Танечка. – Можешь нам рассказать самую развратную и пикантную историю, тебе простительно.
- Да не было ничего пикантного, – слабо отнекивался я.
- Все так начинали, – на корню пресёк мои пререкания Мальцев.

Я понял, что от судьбы не уйдёшь. Раз они хотят, чтобы я играл в их игры, придётся играть в их игры. Не имело значения, что лично я думал по этому поводу. Я был в чужом монастыре, и у меня не было никакого морального права пытаться навязать им свой устав. Во всяком случае, пока я не выпил достаточное количество вина.

– У меня тоже особенно радикальных случаев не было, – сказал я и тут же подумал, кто мне мешает выдумать по-настоящему фантазмагоричную историю, потому что всё равно – ну как они могут меня проверить. – Однажды некая девушка ходила за мной по пятам. Мы ещё в школе тогда учились. Я пользовался некоторой популярностью среди неё. Она, очевидно, хотела завязать со мной знакомство, и всё ходила за мной каждый день из школы, благо жили мы почти в одной стороне. Вооот. И как-то я решил, что хватит, дескать, выступать в пассивных ролях, пора брать быка за рога, устраивать личную жизнь и так далее. Тем более, девушка мне нравилась, была симпатичная, и всё такое. И я решил как-то обозначить, что я прекрасно осознаю, что она ходит за мной не случайно. Думал я долго. И не придумал ничего умнее, как однажды повернуться, дожидаясь, пока она подойдёт поближе и спросил у неё: «Тебе компас не подарить? Удобнее будет дорогу искать?» Девушка, конечно, испугалась, слава богу, не заверещала и не убежала. Такое тоже бывало, правда, в другие разы и не с ней. Но в конечном итоге мы всё же познакомились.

– И? – спросила богемная Жанна, неестественно держа руку в воздухе на манер статуи и закусив богемный мундштук богемными зубами.

– И что, и всё, – стушевался я. – Дальнейшее отвечает условиям вашей странной игры.

– А почему, – спросила Мальцева, поглядывая на меня, мягко говоря, неодобрительно, – почему ты отделяешь себя от коллектива? Почему ты говоришь «вашей игры»? Ведь ты тоже здесь присутствуешь. Тебя никто не заставлял в неё играть. Мне показалось, что ты сам был не прочь.

Мальцев успокоительно обнял жену, называя её по имени, чтобы она успокоилась и перестала агрессивно на меня нападать.

– Нет, пусть он ответит, – не унималась его жена, которая, как мне показалось, решила отыграться на мне за всё – за не совсем трезвого мужа, за

ту историю, которую тот рассказал, за свою поломатую молодость и прочая и прочая. – Пусть ответит, что за нелепый индивидуализм. Раз мы тут все общаемся, то давайте и общаться по-настоящему, а не вот так – вставать в позы и противопоставлять себя коллективу.

– Я не противопоставляю, – вяло отбивался я. – Совсем не противопоставляю. Я же понимаю прекрасно – чужой монастырь и всё такое прочее. Я только хотел сказать, что игру эту предложил не я. И что я бы лично ни за что не предложил бы такой игры. Потому что, если вам так хочется пощекотать свои семейные нервы фривольными рассказами, то можно было бы выбрать другую тему. Вот однажды в другом обществе мы, допустим, так же рассказывали в плане игры случаи из своей жизни, так мы просто рассказывали про свой первый сексуальный опыт. Безо всяких завуалированностей. Но раз вам угодно говорить именно об этом, я же ничего не говорю, я поддерживаю беседу и говорю с вами именно об этом, о том, о чём именно вам хочется поговорить. Я, на самом деле, свято чту законы обыкновенной демократии и, как послушное меньшинство, подчиняюсь воле большинства.

– Тебе что, наше общество неприятно? – спросил Соловейчик. – Мы недостаточно для тебя интеллектуальны? Мы про Пруста не говорим?

– При чем тут Пруст, – не понял я. – Я не люблю Пруста и не призываю вас о нём говорить. – Я о другом.

– Подожди-подожди, – теперь вмешался Антонов. – С каких это пор наш монастырь, как ты выразился, перестал быть твоим монастырём? Всё время тебе было интересно с нами, и вдруг перестало быть с нами интересно... Чем мы провинились? Тем, что переженились? Так мы в этом, извини, не виноваты. Да, мы все сочувствуем, что у тебя не сложилась личная жизнь, но мы тут совершенно ни при чём.

– Да при чём тут это? – спросил я. – Речь не об этом. И вообще, давайте подводить итоги конкурса. Пусть девушки объявят своё решение. Я призываю.

Понятное дело, что никаких призов я не получил. Такие это люди – к доводам разума они глухи. Логикой их не переубедить. Такой это я. Наверное, это даже важнее.

Приз получил, разумеется, Соловейчик. Хотя в его рассказе (см. выше) не было ничегошеньки сверхъестественного, харизма, понимаешь, брала своё. Харизма – это такая штука, против неё никуда. В этом обществе у меня не было харизмы. Кстати, странное дело, давно хотел об этом порассуждать. Вот, казалось бы, харизма. Она что? Харизма и харизма. Она либо есть, либо, соответственно, её нет. И если она есть, то ты больше от неё никуда. Если нет, то, понятное дело, и дёргаться бессмысленно. Ан нет. Оказывается, что всё и не так даже. С ней, с харизмой, может быть такая история, что в определённом обществе она есть, а в другом каком-то не менее определённом обществе

её – бац! – и нету. В этом обществе у меня харизмы не было. Поэтому я сидел и молчал в тряпочку. До той поры, пока пары алкоголя в моей крови не превысили известной дозы. Но об этом рассказ впереди, не будем забегать. Также впереди рассказ о других обществах – обществах, в которых я эту самую харизму имел.

Хотя вообще слово «харизма» всегда напоминало мне древнее неприятное мифологическое существо, Харибду. Так оно, вероятно, и есть на самом деле.

Призом Соловейчику достались дамские поцелуи. То есть, каждая из присутствующих дам должна была его облобызать. Чтобы дамы не стеснялись своих мужей, процедура лобызания проходила в соседней пустой, ещё не отремонтированной комнате. Соловейчик выходил туда с дамой и что-то такое между ними там происходило, так что после последней лобызантки Соловейчик вернулся неестественно красного цвета. Впрочем, мужей это, казалось, не сильно заботило. Мужья, пока жёны решали вопрос с Соловейчиком, пользуясь отсутствием и тех, и другого, усиленно налегали на вино и даже высказывали запоздалые сожаления о том, что надо было брать водку. Я участвовал. В налегании, не в сожалениях.

Потом наступила очередь девушек делиться подобными историями. Всё это становилось каким-то рутинным и потеряло ту живость, которая и изначально там не присутствовала, а лишь обозначалась гальваническими потугами присутствующих. Сначала взялась рассказывать Мальцева.

– Я до мужа вообще мало знакомилась с мужчинами, – начала она и посмотрела выразительно на мужа, дескать, вот как надо. – А на улице так и вовсе практически не знакомилась. Потому что мне и в голову не могло прийти, что на улице можно познакомиться с приличным человеком. Мне казалось, что те, кто знакомятся с девушками на улице, это какие-то извращенцы и озабоченные. Но один раз всё-таки такая история со мной произошла.

– И опровергла твои представления? – спросил награждённый Соловейчик, очарованный, как и все присутствующие, эпичностью изложения.

– Ну, не совсем, но до некоторой степени. Или даже так – лишний раз подтвердила, что всякое правило красно исключениями.

– Так рассказывай, рассказывай нам эту историю, – попросила богемная Жанна, менявшая место дислокации и усевшаяся теперь рядом со мной на диванчике, так что я мог видеть теперь только её профиль и никак не руку, которую она продолжала неестественно держать в воздухе на манер статуи. Это меня несколько расстраивало, я всё ворочался на диванчике, норовя поймать ракурс, при котором неестественно выгнутая рука попала бы снова в поле моего зрения. Я, видите ли, люблю минималистические повторения.

– Как-то иду я, значит, себе с автобуса домой. В школе я, что ли, ещё училась, не помню. Или только-только закончила школу, словом, молодая совсем ещё была. И смотрю – даже не смотрю, а слышу, или, ещё точнее, чувствую, каким-то шестым чувствую чувством, что кто-то за мной идёт. Я поворачиваюсь – молодой человек. И знали бы вы, что это был за молодой человек! Картинка, сказка, мечта... Такой весь из себя... такой... такой... – Мальцева описательно завертела руками в воздухе, так чтобы все прониклись её эмоционально-экстатическими ощущениями при виде того молодого человека. – Идёт и идёт. Явно познакомиться хочет, но не решается. Такой красавец, и не решается. Тогда я – не знаю, что на меня нашло, мне это совершенно не свойственно, – обращаюсь к нему и говорю: «Вы меня провожаете, чтобы не напал никто?» Он говорит: «Нет, мне просто в эту же сторону». Я говорю: «Так, может, проводите заодно?» Он говорит: «Охотно». И пошли мы рядом, и разговорились, и познакомились, и... словом, очаровательный молодой человек. А самое интересное, что – он потом мне признался – он действительно в тот день не за мной шел, а просто ему надо было в ту же сторону и той же дорогой.

– Поэтому, я надеюсь, – значительно сказал Мальцев, помавая в воздухе перстом, – ты будешь больше ценить своего мужа, который, несколько позже описанного времени, именно что шёл за тобой и именно что хотел познакомиться.

Все помолчали, переваривая услышанное, не торопясь, выпили ещё, я поёрзал на диванчике, пытаюсь незаметно притиснуться ляжкой к ляжке богемной Жанны. Следующей по очереди взялась рассказывать молодая жена Танечка, зазывно осмотрев окружающих.

– Со мной была в поезде история, – объявила она. – Я ехала откуда-то издалека, из Сибири, кажется, в Питер. Первый раз в жизни ехала в Питер, к подруге. Тоже мне было не то девятнадцать, не то двадцать.

– А что ты в Сибири делала изначально? – спросил любопытный Соловейчик.

– В Сибири я изначально родилась, – молодая жена Танечка приятно раскраснелась, взбудораженная воспоминаниями. – Ну вот. Еду я, значит, в поезде. В купе. А со мной в купе три мужчины. Так получилось случайно, билеты так выпали. Двое, значит, постарше мужчин, солидные такие, лет по сорок, хотя и поддерживающие неформальный вид, один с серьгой, другой с длинными волосами. Такие, бизнесмены средней руки, видимо. Но стильные дядечки. Третий не с ними едет, отдельно, помоложе. Всё газету читает. Спортивную. Лет двадцать пять ему или двадцать шесть. И эти, которые постарше, они сами питерские, и на этой почве начинают меня откровенно клеить. Спрашивают, была ли я уже в Питере, да к кому еду, да на сколько, да советы дают, что посмотреть и тому подобное. А молодой всё газету читает. Потом стали спрашивать, какую я музыку слушаю, и не пойду ли я с ними вот сейчас в вагон-ресторан отведать нехитрой транспортной снеди. Я боюсь

и не иду. А молодой всё газету читает. Ну вот. Потом они ушли, наконец. Оставили меня в покое. И я так обрадовалась, так обрадовалась, что от облегчённого такого, знаете, состояния, сама заговорила с молодым, который с газетой был. И он газету отложил и давай со мной общаться. Слово за слово, так и познакомились. Такой мальчик оказался милый, такой милый мальчик. Мы потом и в Питере встречались, и вообще.

Антонов только вздыхал, но поделать ничего не мог. Слишком он был крохотен и незначителен по сравнению с либидо собственной молодой жены. У меня же всё время создавалось какое-то подспудное ощущение, что Танечка чего-то главного, самого пикантного в этой истории не договаривает. Если бы муж вышел на какое-то время из комнаты, мы бы узнали самую что ни на есть подноготную. Но нет. Пришлось нам с Соловейчиком ухлопать на двоих почти целую бутылку вина. Мне показалось, Соловейчик тоже почувствовал эту недоговорённость в словах Танечки. Я даже хотел обсудить с ним эту тему, но вовремя вспомнил, что нам предстоит выслушать ещё один рассказ.

Богемная Жанна, чья, собственно, очередь рассказывать и наступила, перехватила мундштук в воздухе изломанной в локте рукой, с явным неудовольствием отставила недопитый бокал вина, которым она пыталась составить компанию и конкуренцию мне и Соловейчику (который начинал мне положительно нравиться) и без приглашения приступила.

Как же слаб человек.

– Со мной совершенно точно ни разу не было такого, чтобы я познакомилась на улице. Ни разу, ни разу. И в дискотеки я, к примеру сказать, тоже не хожу. А в театрах, на вернисажах и так далее не очень-то познакомишься. Не за этим туда люди ходят. Хотя мужа своего я и встретила на выставке, но это уже другая история. А вот зато я, когда была моложе, любила знакомиться через интернет. Вот знаете, всякие сайты знакомств и так далее.

– Знаем, – сказал подкованный Соловейчик.

– Вот. И мне нравилось там разыгрывать разных людей, прикалываться, как сейчас бы сказали. Я брала фотографии разных эротических звёзд в откровенных позах и выдавала их за свои. И смотрела за реакцией мужского населения. Ой, я была популярна. Мне писали чуть ли не все. Некоторые сразу писали откровенные пошлости, описывали как и что они со мной сделают. Другие осторожничали, писали, что не верят, что такая красота существует. Ещё была категория, которая знала, что это за фотографии, чьи они и откуда взяты – любители, видимо, такого рода сайтов – и всё равно мне писали, хвалили мой вкус и предлагали встретиться. Я с некоторыми даже встречалась, но в общей массе они были какие-то неприятные.

– Да ты авантюристка, оказывается, – с уважением сказал Мальцев.

– Я же говорю, я тогда молодая была и не замужем, – как будто это что-то сильно меняет, оправдывалась богемная Жанна, с явным удовольствием за-

тягиваясь неестественным мундштуком. – Но одна встреча мне запомнилась, и даже у нас лёгкий такой романчик случился с этим молодым человеком. Он был, судя по письмам, такой наивный-наивный, неопытный-неопытный, так повёлся-повёлся, что это я на фотографиях, с такой страстью умолял о встрече, что я не могла не согласиться. И представляете – он, похоже, и при встрече не понял, что фотографии не мои.

– Ты похожих, что ли, на себя отбирала? – поинтересовалась молодая жена Танечка тоном специалиста.

– Да нет, в том и дело. Просто каких-то тёток, совершенно ничего общего. Он на лица, скорее всего, и не смотрел даже. Там интереснее были вещи для него.

– Так вы встретились? – спросил я.

– Встретились, говорю же. Робкий такой мальчик оказался, смотрел на меня как на неземное существо. В глазах чуть ли не искры летали. Но сидел на пионерском расстоянии, прикоснуться к легенде боялся. Сама ситуация была такая нелепая, нереальная какая-то. Он водил меня гулять. То есть, натурально, мы часами ходили по городу, по таким местам, которых я не видела никогда, хотя и родилась тут и прожила много лет. Мы полгода потом общались-встречались. И как-то даже раздражать меня стало, что он никаких активных действий не предпринимает. Ну вообще. Хоть бы когда за руку взял. Нет.

– А ты сказала ему, что это не ты на фотографиях? – решил уточнить Антонов.

– Нет. Сначала я думала, сам поймет, потом это даже интересно стало, о чём он там думает, внутри себя. Ведь странно – если он действительно считал, что во всех этих томных позах была я, то, по идее, должен был считать меня доступной девушкой, даже, более чем доступной. Но он никак этого не проявлял. В общем, была я полгода музой, идеалом порочной красоты и чем-то ещё таким.

– А кончилось всё чем? – спросила молодая жена Танечка, зазывно глядя на Жанну.

– Да ничем. Надоел он мне. Восторженностью своей именно и надоел, – сказала Жанна и затянулась сигаретой как-то особенно по-матросски.

В общем, смысла этого рассказа я не понял. Либо она не договорила чего-то, либо уже количество выпитого превысило всяческие нормы. Другое дело, что я вообще не понимал, зачем это всё началось, как не понимал многого из того, о чём разговаривали и как вели себя все эти люди. При том, что на определённом этапе некоторых из них считал своими друзьями. Тут дело во мне.

Женский приз присудили молодой жене Танечке, хотя я в своём оценочном листе поставил на первое место богемную Жанну. Очень уж я любил всё непонятное, плюс сидели мы рядом, прижавшись ляжками. Призом

Танечке досталась извлечённая откуда-то Соловейчиком целая бутылка относительно дорогого шампанского, которое он, оказывается, незаметно приобрёл, когда они ходили в магазин. Танечка попросила Антонова открыть эту бутылку и честно разделила её со всеми остальными девушками. Обстановка накалялась.

Спустя какое-то время я стал собираться домой. Не помню, скорее всего, я захотел спать или просто резко стало совсем уж невмоготу. Со мной такое случается периодически, когда критическая масса переполняет чашу – и льётся через край, и тогда надо немедленно подниматься, хвататься и уезжать. К моему удивлению, меня стали отговаривать.

– Куда ты пойдёшь? – спрашивал хозяин Антонов. – Уже ночь на дворе, транспорт почти не ходит.

– Вот я и пойду, пока он именно что ещё не совсем не ходит, – упорствовал я.

– Да ладно, погоди, – уговаривал и Соловейчик, – на такси вместе потом поедем. Вдвоём не так дорого.

Молодая жена Танечка смотрела на меня особенно зазывно, а богемная Жанна переложила мундштук в угол рта и тоже предложила мне остаться. Я вообще человек слабовольный, а когда меня уговаривают что-то сделать, то чаще всего не могу устоять. Особенно не могу устоять, когда меня уговаривают на какой-то бесполезный поступок, который ну никаких дивидендов не может мне принести. Словом, я остался. Довольно зря, как выяснилось вскоре. Не то, чтобы результат моего оставания привёл к каким-либо трагическим последствиям, а просто. Ну, в общем, потом мы снова стали пить.

Игры закончились, то есть, нет. Мы ещё пытались играть в карты, какую-то мудрёную игру под названием «Мафия». То есть, это была не совсем даже карточная игра, надо было, помню, кому-то зачем-то мигать и периодически закрывать глаза, потом кого-то как-то убивать, то есть, не физически, слава богу, а просто наставляя палец на манер пистолета и говорить «Я тебя убил» – или что-то вроде того. Не помню, может, и не было никакого пальца. Вообще надо сказать, что получалось у нас плохо, все путались в правилах, ссорились и обвиняли друг друга в жульничестве. Закончилось тем, что Антонов взмолился остановить игру и сказал, что лучше мы будем пить коньяк. Который был у него тщательно спрятан для каких-то особенных случаев, и, видимо, сейчас такой случай настал, потому что даже молодая жена Танечка, чей богатый папа именно что и подарил коньяк новоиспечённому зятю, не возражала против того, чтобы его достать. Коньяк был какой-то жутко марочный, и отвратительный. Впрочем, возможно, я пресытился обстановкой и компанией, а возможно, мои ощущения связаны с тем, что я просто не очень люблю коньяк как напиток вообще.

Снова поговорили о детях, нынешних и будущих. Повспоминали свадьбы, как кто женился, поскольку все у всех перебивали в гостях. Потом Соловейчик сказал, что взял в лизинг стиральную машину. Мальцевы отпарировали покупкой нового дигитального фотоаппарата, а Антонов похвастался какой-то мегаумной посудомойкой. Даже богемная Жанна, неестественно держа руки в воздухе на манер статуи, сказала, что мужу её Арнольду дали на службе в пользование не новый, но совсем мало использованный «Ниссан», и что это так хорошо, так хорошо.

Тогда я стал обличать.

- Вот я сижу и слушаю вас целый вечер, – начал я довольно осторожно.
- И теперь, можно я, наконец, выскажусь?
- По поводу? – не понял Мальцев.
- Так, вообще, – я поводил рукой в воздухе, объясняя.
- Ну, интересно, вообще-то, послушать, – сказала богемная Жанна, закуривая новую сигарету.

Я всё пытался рассмотреть, что же именно она курит, и всячески поворачивал для этого голову, но мне не удавалось – полоска с названием всегда оказывалась скрытой от меня, повёрнута внутрь или куда-то ещё, прочь от моего поля зрения.

– Я Сурганову поставлю, никто не против? – спросила молодая жена Танечка, зазывно поглядывая на сиди-проигрыватель. Я был против, но моё мнение здесь никого не интересовало

– Так я продолжу. Вот я хочу сказать, раньше, ну вы помните, когда мы все, ну, многие, учились в одном и том же учебном заведении, мы так же собирались, так же пили и ели, так же разговаривали.

– Да ну ты что, так же, – сказал как-то даже осуждающе Антонов. – Мы больше пили, не в пример больше.

– И не в пример меньше ели, – поддержал его Соловейчик.

– И это тоже да, – сказал я. – Вы меня недослушали. Меня вообще никогда не дослушивают. Я, конечно, понимаю, кто я такой, чтобы меня дослушивать. Хотя, казалось бы, элементарное уважение требует, чтобы люди дослушивали друг друга. Я не обижаюсь, нет, не обижаюсь, – хотя тут я соврал. – Я хотел сказать, что мы собирались так же, да не так. Все было как-то иначе. По-другому было. И меня удивляет, что вы этого не чувствуете.

– Мы моложе просто были, – сказал Мальцев. – Это известная тема, только у тебя она как-то слишком рано началась.

– Это потому, что ты не женат, – пояснила Мальцева. – Поэтому и цепляешься. Известный факт, что неженатые мужчины раньше стареют, раньше

чувствуют старость, острее, и всё такое. Всё от одиночества происходит. Женись – и всё пройдет.

– Вот почему всегда надо всё передёргивать? – возмутился я. – При чём тут женат-неженат? Я же ничего против ваших спутников и спутниц жизни не имею. Это естественно – по достижении определённого возраста, люди испытывают тягу к созданию семьи. Именно, кстати, для того – в первую очередь – чтобы не мучиться от одиночества. Я совсем не про это хотел сказать.

– А про что? – спросил Антонов. – Ты что-то всё к сути не подберёшься. Ощущение было такое, как будто хочешь что-то глобальное сказать, а всё топчешься и топчешься на одном месте. Чего ты завёлся, объясняй давай.

– Я не заводился. Я хотел поделиться с вами своими ощущениями. Поделиться и удивиться, что вы не испытываете ничего подобного. Когда-то мне казалось, что мы мыслим в унисон, что наше восприятие действительности настроено приблизительно на одну волну, что мы гармонизируем друг с другом, а теперь оказывается, что это не совсем так.

– Вот когда ты говоришь «мы», – богемная Жанна помахала в воздухе мундштуком, – ты кого конкретно имеешь в виду? Поясни. Потому что я, например, хоть училась в одном с тобой университете, во время учёбы, как ты помнишь, с тобой практически не была знакома и не общалась. Не потому, что ты был мне неприятен или что-нибудь ещё другое подобное, а просто – ну, обстоятельства, что ли, так сложились.

– Когда я говорю «мы», я имею в виду нас, – пояснил я и чуть пошатнулся, пролив содержимое бокала на колени богемной Жанне.

Началась суматоха. Меня никто не обвинял, но все хотели как-то поучаствовать в вытирании или хотя бы помочь советом. В итоге богемную Жанну препроводили в ванную, где она завернулась в какое-то полотенце, а юбку свою богемную оставила сушиться. Я не видел необходимости в подобных мерах, тем более, что все эти манипуляции заставили меня прервать свою обличительную речь. Впрочем, Жанна вскоре вернулась, уселась почти на прежнее место, но подальше от меня, и вся, по её словам, обратилась в слух.

– Вот, так что я хотел сказать? – попытался продолжить я. – Я хотел сказать, что время идёт странным образом. То есть, нет, время идёт совершенно так, как оно и должно бы, по идее, идти, то есть, ну, вперёд. Оно невозвратно и всё такое. И мы, естественным образом, меняемся с его ходом. Но – и вот здесь заключается главная мысль моего выступления, основной его, так сказать, посыл. Мне не очень нравится, как вы меняетесь.

– А кого ты на этот раз имеешь в виду под словом «вы»? – с явным неудовольствием спросила Мальцева. Мне вообще казалось, что она отчего-то сильно меня недолюбливает, потому что она не только не смотрела на меня зазывно, но даже не держала руку как статуя. И вообще не курила.

– Как я понимаю, он имеет в виду всех нас, здесь присутствующих, кроме себя самого, – вмешался Антонов. – То есть, ты сам меняешься правильно?

– Я меняюсь постольку поскольку, – с достоинством ответил я. – Я стараюсь меняться минимально. То есть даже не то, чтобы я прямо старался, просто так вот получается как-то. Я и сейчас, если вернуть меня в годы нашей учёбы и снова погрузить меня в атмосферу нашего бывшего общего, за редкими исключениями, учебного заведения, уверен, что я бы очень быстро вновь вошёл в эту колею. То есть вот бы и экзамены стал сдавать и вести студенческий образ жизни.

– А мы, значит, не смогли бы, по-твоему? – спросил угрожающе Соловейчик.

– Я не о том. Возможно, что и смогли бы. Но вы – как бы это сказать. Вы только не обижайтесь, но вы все как-то обуржуазились. У вас поменялась система ценностей.

– По-моему, это естественно, сказала Мальцева, – когда человек женится, обзаводится семьёй, а тем более, когда у него появляются дети, то на первое место в его личной системе ценностей выходит именно семья, дети и всё, что с этим связано. В этом-то всё и дело. Ты смотришь на нас со своей холостяцкой точки зрения и не находишь с нами точек соприкосновения. Мы ушли вперёд по шкале взросления. Ты остался в подростковом возрасте, а мы достойно вошли во взрослую жизнь. Вот и всё. Я правильно формулирую твоё мироощущение?

– Моё мироощущение, – достойно возразил я, – штука настолько сложная, что я и сам не всегда могу его внятно сформулировать, что уж тут говорить о посторонних. Возможно, в твоих словах есть значительная доля истины. Возможно, и правда, многое поменялось в вашем отношении к жизни оттого, что вы обзавелись семьями. Суть в том, что со стороны мне видится, будто вы утратили лёгкость. Где ваша лёгкость, скажите мне?

– Интересно, – сказал уже Мальцев. – Значит, твоё мировоззрение никому из посторонних не выразить, а ты запросто выражаешь за нас наше. Ты настолько умнее?

Вопрос был явно провокационный.

– Настолько это насколько? – чуть замаявшись, спросил я – и тут же пошёл на попятную. – Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что я кого-то умнее или там лучше, или я знаю, как нужно жить. То есть, для себя-то я определил, как нужно жить. Но и вы для себя это определили. Разумеется, эти наши определения не могут быть одинаковыми, поскольку мы все разные люди – и это хорошо, что мы разные. Но вот понимаете, как бы вам объяснить. Вот я смотрю на вас, слушаю ваши разговоры – и у меня возникает странное ощущение. Не то, чтобы всё, что вы говорите и делаете, есть фальшь, нет. Не совсем так. Но я чувствую, что вам и самим хотелось бы говорить и делать что-то другое, не то, что вы в действительности делаете и говорите. Вы хотите проваться куда-то, в какую-то иную, настоящую жизнь, но не можете. Причём ограничения вам ставит не среда, не какие-то бытовые условности, а ваши же собственные мыслительно-нравственные заборы. Вы понастроили у себя в го-

лове железобетонных конструкций, что вы теперь семейные взрослые люди, с детьми и колясками, и что вам подобает вести себя определённым образом. Но вспомните, ведь когда вы были моложе и безответственнее, вы были счастливее, нет? Вы были безмятежнее, по-моему. Это не значит, что вы тогда жили правильно, а сейчас живёте неправильно. Но отчего-то же берётся в нас эта ностальгия. Не потому ведь, что небо было синее, а девушки моложе, не верю. Мы ещё совсем не старые люди, а нам уже тошно жить сегодняшним днём и мы ищем утешения в прошлом, и всё вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем какие-то мелочи и подробности. Для чего? Задумайтесь – что нами движет?

– Ты не больно-то обобщай, – сказал мне Соловейчик, достаточно угрожающе. – Я вполне нормально себя ощущаю сейчас, как ощущал и тогда. Мне нормально – понимаешь, нормально живётся. И мне нравится обсуждать покупку недвижимости и удорожание цен. Это нормальные взрослые разговоры.

– Ну тогда мне тебя жаль. Вот извини, просто жаль, и всё, – я продолжал пить, хотя уже никто не поддерживал меня в этом моем начинании.

– То есть, ты выступаешь за всеобщую повальную богемность? – поинтересовался Антонов. – А мы должны отбросить сложившуюся систему ценностей буржуазного общества, кинуться, например, курить опиум и рассказывать друг другу исключительно о своих галлюцинациях?

– Нет. Я дико люблю буржуазные ценности. Дико. Я говорю только о том, что вы нечестны перед самими собой, на мой взгляд. Вы говорите не то, что на самом деле хотите сказать.

– Что же мы на самом деле хотим сказать, просвети нас, убогих, – съязвил Мальцев.

Общая атмосфера стала явно враждебной ко мне. Получилось именно так, как получалось обычно в подобных компаниях. Поэтому я допил своё вино, ничего больше не стал говорить – просто потому, что и не смог бы ничего объяснить, даже если бы очень захотел, потому, если честно, что я не до конца понимал, что хочу им сказать, и хочу ли я им вообще что-то сказать. Я засобирился домой. Уже никто меня не удерживал. Только молодая жена Танечка ещё бросала отрывистые зазывные взгляды.

Я, видите ли, всё надеялся, что кто-нибудь там меня остановит или скажет «да ладно, чего ты», или скажет «возвращайся», или скажет «замяли, смотри, сколько недопитого ещё». Больше всего, конечно, я хотел, чтобы все немедленно закричали «да, ты прав, ты прав, мы живём не так и говорим не о том, мы готовы слушать тебя и дальше и меняться». Разумеется, ничего этого не произошло. Я оделся, скромно попрощался со всеми и вышел на улицу.

На улице уже всюю стояла темень. Было лето или же май. Точно не скажу, но ночь надвигалась тёплая и приятная. Если бы при этом ещё было бы приятное расположение духа, сознание собственной моральной победы...

Но даже и так – было неплохо. Пусть не проходило ощущение бесцельно потраченного вечера – но об этом потом. Сначала я решил было дойти до дому пешком, очень уж сладостный ветерок овеивал моё разгорячённое тело, очень уж заливисто высвистывал соловей или ему подобная птица в ветвях одиночного дерева. Но, пройдя таким манером несколько сотен метров, я понял, что дойти пешком до дома – не самая, скажем, хорошая идея. Потому что, во-первых, мой дом располагался на порядочном, откровенно говоря, расстоянии от места вышеописанных событий. А во-вторых, я всё-таки изрядно тогда выпил, и выпитое как-то расшатывало мой организм, так что он склонен был наткнуться на расставленные тут и там телеграфные столбы и невпопад растущие деревья. Тогда я сел на большой валун поразмыслить о том, что происходит в мире и покурить. Собственно, в мире происходило то же, что и всегда – ущербные попытки коммуникации, когда каждый говорит о своём и в результате кто-то самый, не исключено, не оценённый из них всех, о-своём-говорящих, вынужден сидеть на холодном камне в эту пусть тёплую ночь и радоваться, тихо радоваться тому, что он не женщина, ему не рожать, а значит, он не может никоим образом отморозить себе придатки, и хоть в этом компоненте жизнь удалась. И плюс, можно довольно беспрепятственно курить, не заботясь о собственном имидже в глазах несочувственно настроенного света и полусвета.

Я знал одну семью, где вся жизнь была сосредоточена вокруг придатков супруги. Там ничего не происходило, что бы хоть каким-то образом на них не влияло. И, понятное дело, именно их она и отморозила себе в конечном итоге. Что ничего не доказывает, но пример сам по себе поучительный.

Я докурил и стал вызывать такси. Водителем оказался пожилой благообразный дядечка, который для поддержания беседы стал у меня выспрашивать, как ему ближе доехать до моего дома. Я всегда полагал, что таксист – он на то и таксист, чтобы лучше обывателя знать всевозможные городские стёжки и дорожки, объездные, проходные и трамвайные пути. Подобный зачин разговора со стороны таксистов меня, видите ли, раздражает. И по сию пору раздражает. Уважаемые таксисты, буде случится вам перелистывать в недолгий час ожидательного досуга эти скромные страницы! Не говорите со мной о маршрутах. Пожалуйста. Очень вас прошу. Давайте останемся друзьями навсегда, хотя это зачастую и приводит к непредсказуемым последствиям.

Тем не менее, я назвал ему тот путь, которым меня обычно возили, и мы тронулись. Потом дядечка вдруг говорит:

– А давайте я вас отвезу новой короткой дорогой. Отсюда есть другой путь к вашему району, мне почему-то кажется, что выйдет быстрее.

– Отвезите, пожалуйста, меня новой короткой дорогой, – согласился я. – Хотя какое-то разнообразие.

Я, видите ли, сторонник теории новых вкусов. Теория эта заключается в том, что нужно, при прочих равных условиях, стремиться пробовать новые вкусы уже опознанных предметов, например, новые соки одной и той же серии, новые зубные пасты, новые фильмы известных режиссеров – и так далее. Вот и новую дорогу я выбрал по тому же принципу. Конечный пункт мне известен, так почему бы не разнообразить промежуточные результаты. И таксист повёз меня какими-то закоулочными районами, задворками и опасной частью города.

Вот опять я всё испортил. Я всегда всё порчу. Не собирался ведь говорить о себе. А говорю. Вроде бы, и оправдать меня можно – тем, что это единственная тема, которую я знаю хорошо. И единственная тема, которая меня интересует. Но это не совсем так. На самом деле, меня интересуют другие люди, очень. Особенно некоторые из них. Особенно, если уж на то пошло, одна из этих некоторых. Но я ведь не собирался, не собирался. Я собирался рассказывать о других людях, пусть даже в их связи с собой, пусть о том, как они раскрываются в моём присутствии, в моей интерпретации и моём преломлении. Но куда-то меня опять сдвинуло. Я не верю, что вам настолько интересно обо мне читать. Я достаточно ординарный человек с гипертрофированно развитой склонностью к рефлексии. Она, как зоб, сразу бросается в глаза и заставляет окружающих брезгливо морщиться в моём присутствии. Я обещаю постараться вернуться к разговору о других. Потому что они меня интересуют. Потому что я пытаюсь их любить. И вы, вы меня лично тоже очень интересуете. Поэтому сейчас мы сделаем вот что: я оставлю место, а вы напишете мне сюда что-нибудь о себе. Хотите, напишите, что вы любите крепкий кофе без сахара, хотите – что не умеете плавать, что безответно любите девушку Настю из соседнего подъезда. Мне интересно, какие вы, как вы живёте.

Написали? Спасибо. А теперь я вернусь к рассказу о себе, а для успокоения совести сделаю вид, что это рассказ о пожилом таксисте.

Итак, мы ехали какими-то непонятными дорогами, время было крайне позднее. И вдруг таксист начал со мной говорить.

– Вот мы сейчас будем проезжать одно место, перекрёсток один. Там знаете что? Там самые дешёвые проститутки в городе. Стоят ночью и ждут, что кто-нибудь мимо проедет и остановится. Подберёт их. Я сам иной раз так делаю. Отвезёшь их на берег моря, например, и трахнешь. Я считаю, что нужно иногда расслабляться таким образом. Ведь вот жену мою взять. Не хочет она раком становиться, и всё тут. Как ни упрашивал, за всю семейную жизнь – ни разу. Воспитание ей не позволяет. А тут – кто платит, тот и условия диктует. Скажешь ей раком встать, она встанет. Отымеешь её и дальше едешь по делам. Расслабляться надо, я так считаю. А если времени совсем мало, можно минетик в машине заказать – на скорую руку. Тоже ничего. Они тут и молоденькие, к тому же. И симпатичные даже очень попадают. Вот. Вы как считаете, надо расслабляться?

– Ну, наверное, – сказал я.

– Не хотите сами расслабиться?

Я не сразу понял, что он мне предлагает. И не ответил поэтому. Таксист продолжил движение – но явно занервничал. То есть, он снизил скорость, поехал самым малым вперёд-темпом. Так что наконец, даже погружённый в свои какие-то мысли, я это заметил.

– Что-то случилось? – спросил я, выходя из глубины своих размышлений и озирая окрестности.

– Я говорю, проституток-то брать будем? – уже не вуалируясь, предложил старичок.

– А надо? – недоверчиво спросил я.

– Ну как... время хорошо проведём. Расслабимся, опять же. Жена моя, говорю, закомплексованная какая-то. Вот у вас жена есть?

– Нету, – признался я и задумался, что же я стану отвечать, если он сейчас начнёт допытываться, почему я ею не обзавёлся.

– Так тем более – возьмём. А? Я простой в счётчик не поставлю.

Иногда ты просто кожей чувствуешь, как на тебя наваливается фатум. И противостоять ему невозможно совершенно. Ты послушно идешь за дудочкой гаммельнского крысолова, даже зная, куда она тебя приведёт. Это был как раз один из таких моментов. Мы остановились на остановке и таксист провёл

нехитрые переговоры с действительно молодыми и достаточно симпатичными для своего ремесла барышнями. Мы посадили их в машину, на заднее сиденье, и стали думать, куда нам направиться. В конце концов одна из девушек предложила «зависнуть у неё на хате». Поразмышляя, мы приняли предложение. Хата оказалась достаточно чистой, хоть и маленькой двухкомнатной квартирой в старом-старом, скрипящем и разваливающемся пятиэтажном доме. Таксист довольно быстро ушёл с одной из барышень в спальню, где и заскрипел кроватью, слышно покряхтывая даже сквозь две не то три двери. Мы со второй девушкой, роковой брюнеткой Дашей, засели на кухне.

– Тут будем или очереди будешь ждать? – спросила она, гостеприимно наливая мне чай.

– Я? Я не буду. Не хочу ничего, – сказал я.

– Журналист, что ли? – понимающе спросила Даша. – Так я тебе ничего не расскажу. Тут был один такой уже, расспрашивал меня тоже обо всём. Потом напечатал где-то, а мне, знаешь, от крыши какой втык был. Неет. Я больше ничего не говорю. Либо дело делай, либо уходи.

– Я немножко посижу и уйду, – сказал я. – Чуть-чуть посижу только. Можно?

– Сиди, конечно. У тебя, может, случилось что? – тон Даши стал каким-то уважительно-сочувственным.

– Да нет, – я поразмыслил и повторил, – нет. Ничего существенного у меня не случилось. Вообще ничего не случилось. Веришь, нет, с самого рождения ничего не случилось.

– Не пойму я тебя тогда.

– Ну, я сам себя часто не пойму. Так всё как-то. Ты сама-то сядь, чаю попей, а? Я деньги всё равно заплачу.

– Это конечно. Иначе бы проблемы у тебя были. Этот – он кто тебе? Родственник? Работаете вместе?

– Нет. Таксист. Домой меня вёз.

– Не довёз, значит? – Даша улыбнулась.

– Как видишь, – я размешал ложечкой сахар. – Чай у тебя хороший, – соврал я.

– Нормальный чай, – отозвалась Даша.

Это было достаточно забавно, сидеть вот так на кухне незнакомого дома с проституткой и пить её чай, ни о чём не думая. В такие моменты всё кажется преступно простым, все ходы можно просчитать наперёд до самого эндшпиля. Всё кажется спокойным и размеренным, вся жизнь видна как на ладони. Ничего в ней не предстоит интересного, но в этом и заключается, как понимаешь, её правда. И ещё понимаешь – что твоя жизнь, по сравнению с жизнью вот такой вот какой-нибудь Даши, это пшик и пустышка. Не потому что нету у тебя цели, а вот просто как-то ну так ты воспринимаешь

всё происходящее. Чехов. Повсюду сплошной заполосный Чехов. Но об этом речь впереди.

– Так, а кем ты работаешь? – Даша решила поддержать со мной светскую беседу. – Пускай я, допустим, поверила, что ты не журналист, но какая-то профессия у тебя есть ведь?

– Какая-то есть, – сказал я. – Не самая худшая профессия.

– И какая это?

Я стал думать, чего бы ей такое соврать. Не придумал ничего умнее, чем сказать, что я поваром работаю в популярном ресторане. Даша всполошилась и стала требовать у меня рецептов. Оказалось, в свободное от работы время, очень она любит готовить и любит познавать всякие новые необычные рецепты. Если, конечно, может по деньгам позволить себе ингредиенты купить.

– Не, ты что, – сказал я. – У нас с этим строго. Я, пожалуй, ещё и вылечу с работы, если буду рецепты направо и налево раздавать. Секрет фирмы. У меня в договоре трудовом это специально обговорено.

– Ну, я ведь не проболтаюсь, за кого ты меня держишь, – упрасивала девушка, став сразу какой-то очаровательно земной и понятной. Больше всего на свете я люблю переживать такие моменты, когда в непонятном или неприятном собеседнике вдруг просыпается что-то близкое, родное, такое, под которым ты сам готов подписаться – и тогда поневоле искрит и вибрирует всё, что к этому приспособлено.

– Нет, Даша, извини. Нельзя, – твёрдо сказал я, допил свой чай, встал, достал из кошелька деньги, причитавшиеся ей по таксе, и оставил этот гостеприимный дом и таксиста за решением проблем своих супружеских взаимоотношений.

Я вышел на улицу. Было темнее, чем в том районе, где я сидел у Антоновых. Я был трезвее и спокойнее. Я долго, очень долго шёл пешком и ни о чём не думал. Ночь была моей женщиной на данное время. Этот район считался опасным, и не зря. То есть, в нём действительно происходили всяческие неприятные для одинокого бездумного путника приключения с ужасающей периодичностью. В другой момент я бы мог начать паниковать и бояться, но сейчас мне отчего-то было лень об этом думать. Я не притягивал к себе ни страхов, ни эмоций. Я любил свою женщину-ночь, любил её физически, разрезая шагами. Ночь была моей невестой, моей Беатриче, моей сукой. Только она ждала меня, всегда готова была принять и успокоить на своей холодной груди. Только с ней можно было вести себя совсем естественно, без каких бы то ни было масок, не притворяться – быть нежным, когда хочется быть нежным, и безжалостным, когда хочется быть безжалостным. С ней даже не всегда нужно было говорить – зачастую она понимала и без слов. Она ничего от меня не хотела, кроме того, чтобы я был в ней. Ей не надо было платить за любовь, за исключением платы своим погружением в неё и растворением в ней. Я любил свою женщину.

Но, если бы меня в ней не было, обязательно был бы кто-то другой. И ей, – ей было бы все равно.

Волнительный пассаж, не правда ли? Я шагал по этому району, который обгоняет все другие районы моего города по количеству преступлений на удельную единицу времени, и думал, чего я, собственно, взъелся на этих людей. Чего такого неправильного они делали? Никого нельзя принуждать говорить то, о чём он не хочет говорить. Нелепо даже как-то с этим спорить. И вообще – ну вот зачем – всё вообще зачем? Зачем эта нелепая Даша? Зачем мое выступление, сумбурное, с проливающимся бокалом в руке? Дали бы мне по морде, что ли, даже как-то справедливее было бы, что ли. Пострадал бы хоть – за правду, вроде. А так – и ни страданий, и ни правды. Или напротив – сплошные страдания и сплошная правда. Никто этого не знает. Никто. Хорошо таксисту. Оттрахает сейчас эту девочку, сядет в машину свою и отправится дальше по своим нехитрым делам. Всё хо-ро-шо. Супруга ничего не заподозрит, а он не будет нервничать излишне, когда она в очередной раз не примет столь излюбленную им позу.

– Всё хо-ро-шо! – заорал я, достаточно неожиданно сам для себя.

– Ты чего орёшь? – недовольно спросил меня какой-то писающий на соседний дом мужчина. – Времени, знаешь, сколько?

– Приблизительно, – сказал я. – У тебя сигареты не будет?

– На, кури, – мужик достал из кармана что-то настолько дешёвое и ядрёное, что у меня от первой же затяжки слёзы на глазах выступили. Мои сигареты остались у Даши, да и было их там в пачке не то две, не то три, так что возвращаться не было никакого резона.

– Спасибо, – сказал я мужику.

– Чё, правда, что ль, хорошо всё у тебя? – спросил мужчина недоверчиво. Он давно застегнулся и теперь курил со мной вместе, прислонившись, для надёжности, к углу дома.

– Ну да, – сказал я. – А у тебя разве нет?

– У меняяя? – протянул мужик. – Да, подумать, так и правда твоя выходит. И у меня всё хорошо. Какая фигня. Ежели по большому счёту-то.

– Вот именно, – сказал я, и стало мне так радостно-радостно, непередаваемо от того, что мужик меня понял. – Вот именно.

– Ну так чё, – мужик как-то просительно взглянул на меня снизу вверх.

– Может, тогда вместе, а?

– Давай вместе, – легко согласился я.

Мы набрали в лёгкие воздуха и уже хором, раздирая глотки и немилосердно будя криминогенных жильцов, заорали что было сил:

– Всё хо-ро-шооооооо!!!!

Итак, вот вам, дорогие мои, нарисована первая картина, прозвучала первая кода и совершилось первое причастие. Как я и предполагал, мне не удалось полностью отрешиться и воспарить, в итоге я спустился к каким-то земным женщинам и мужчинам и вступил с ними в невероятные отношения. Но зачем повторяться, если вы читали первую часть, то и так всё знаете, а если нет, то, судя по всему, и не хотите этого знать. Причём заметьте – я не настаиваю на том, что это должен знать каждый, не развешиваю в ваших загаженных подъездах эсхатологических плакатов в чёрно-зелёных тонах. Нет, я просто говорю о том, что меня интересует, говорю так, как хочу говорить, и все мои неизбежные отступления продиктованы только моим несносным характером и врождённой неспособностью к концентрации.

Переходим к картине второй, перед которой следует сделать некоторые пояснения, иначе говоря, вводную часть. По первой картине могло создаться ощущение, что я такой нелюдимый и неприятный тип, который неуютно чувствует себя в любых компаниях и стремится им показать и доказать, до чего неправильно они существуют в этом мире, намекая при этом что лично я знаю, как нужно жить, красиво и духовно, что бы это ни значило. Этаким Чацкой, которому душно в ваших помещениях и неприятны ваши нормальные бытовые разговоры. Человек, лишенный чувства принадлежности, который не может себя соотнести (или же, научным языком выражаясь – я таки-да, начитанный, и таки-да, закончил вуз – идентифицировать) с какой-либо группой людей, разделяющих духовные ценности, сходные с моими, и общающихся на одной высокой волне. Это так, да не так. Всё гораздо хуже. Вот во второй картине вашему вниманию предлагается именно опыт общения с такой группой, с людьми, которые, казалось бы, должны быть мне близки по устремлениям и взаимоопасной борьбе с тяготами быта. Из нижеизложенного будет видно, что и они – и они – не вносят в мою внутреннюю организацию сколько-нибудь видной стройности и удовлетворённости происходящим.

Итак, картина вторая. Мы снова видим комнату, как и условились. Комната ничем особенно эксклюзивным не примечательная, разве что ёлкой, стоящей посередине, в память о недавно прошедшем новогоднем празднике, который я столь безответно и нежно люблю. Но сейчас, когда мы окидываем ее – картину – взглядом (я ретроспективным, вы – скачущим), уже конец января, и небранная ёлка свидетельствует о затаившемся сентиментализме хозяев либо – их небрежности в выполнении житейских условностей.

Я на самом деле знал одну семью, где отец семейства выносил ёлку на помойку уже в мае – случай анекдотический, но достоверный. Впрочем, это не та семья. Это вообще не семья. То есть, безусловно, в этом доме живет семья, папа, мама и их половозрелая богемная и всячески оригинальная дочь, на именины которой и собрался здесь тесный круг равно оригинальных личностей. Куда был приглашен и я – уже не как случайно залётный гость, приглашённый по непонятному случаю, а как специально вызванное лицо, представляющее загадочный интерес для собравшихся в том числе и своими антисоциальными взглядами и устремлениями. Кроме меня, присутствуют следующие лица.

Хозяйка квартиры, девушка в высшей степени одухотворённая и антибуржуазная, барышня по имени, допустим, Терпсихора. Отчего-то хочется её так назвать, не знаю даже почему, но есть в ней нечто терпсихорианское. Молодой человек впечатляющих габаритов Степан Терлеев, известный в нашем городе художник-авангардист, картины и разнообразные инсталляции которого, по всеобщему убеждению всех его окружающих, опережают своё время лет на пятьдесят, как минимум. Его дама сердца – возможно, только на сегодняшний вечер, а возможно, и вообще в дальнейшем по жизни, Елизавета – единственная, кто попал сюда не по зову сердца, а почти что по служебному долгу быть всегда и везде (хотя бы только в этот вечер) рядом со своим гуру и духовным наставником. Молодой человек Денисов, учащийся в цирковом училище на клоуна, собственно, на этом его необычность и антибуржуазность и заканчивается. И ещё один молодой человек, некто Ильин, просто учащийся, в неуточнённом учебном заведении, вообще душка и милашка и страшно умный и высокоэрудированный в разнообразных сферах.

Как уже сказано, гости собрались на именины молодой хозяйки квартиры, Терпсихоры, с которой каждого из них, исключая разве что девушку Елизавету, связывают разного рода странные и запутанные псевдо- и квазилибидные отношения, в настоящем, прошлом или будущем. И вот. Когда все подарки были разданы и все приличествующие случаю слова сказаны, гости водворяются за небольшой круглый, похожий на спиритический, столик, причащаются вегетарьянской и прочей кошерной пищи, и между ними, как писали Гамсун, Хармс и иные вольтерьянцы, «происходит следующий разговор».

– Как твоя работа? – спрашивает Терпсихора Степана Терлеева, который в экспериментальных целях выхода в большой мир из своего герметичного мира искусства устроился менеджером на оклад в одну из многочисленных малопонятных фирм нашего города.

– Мне нравится, – говорит оптимистичный Терлеев, – я там познаю белый свет и вообще узнаю много всего нового. Раньше я, к примеру, не умел настолько хорошо общаться с людьми, с людьми самых разных слоёв обще-

ства, обременённых самыми разными духовными, а больше материальными потребностями. Теперь же я научился с ними разговаривать, научился понимать их тонкие ранимые души, и вы знаете, что я вам скажу?

– Нет, – ответил я за всех.

– Я вам скажу, что представление, бытующее в наших кругах, представление, насильственным образом противопоставляющее людей искусства, людей так называемого искусства и обывателей, озабоченных только зарабатыванием на хлеб насущный, представление это в корне ошибочно. Каждый человек таит в себе нераскрытые пласты духа, каждого волнуют какие-то свои особенные проблемы, о которых, зачастую, его ближние не имеют ни малейшего представления, каждый достоин любви и уважения.

– Но с этим, по-моему, никто никогда и не спорил, – задумчиво и низким голосом произнесла Терпсихора, покручивая пышные волосы на пальце левой руки.

– Я сам, – сокрушается Терлеев, – я сам вполне ожесточённо спорил с этим.

– Нет, я не то, – поведал будущий клоун Денисов. – Я всегда склонен и стремлюсь видеть в людях только самое лучшее. Стремлюсь и склонен. Каждый человек, ведь это целый мир, целый мир, сокрытый за одинаковыми, казалось бы, мышечными реакциями и тканевыми волокнами лица.

Елизавета вдруг встала с места и стала перемещаться по комнате, как бы пробуя разные места. В силу немногочисленности собравшихся, свободных мест в комнате было достаточно много, и вот она пошла их исследовать. Для начала она присела на колени к Терлееву, который продолжал что-то доказывать Денисову, махая на того руками с явным выражением предельной доброжелательности на лице. Но оттуда она сорвалась достаточно быстро, видимо, ощутив на себе, что мешает своему молодому человеку жестикулировать. Потом она присела на свободный стул, лицом ко мне, пытаюсь мимикой вовлечь меня в общее течение разговора – но я пока слушал. Слушать было интересно и вставить в разговор пока было нечего. Тогда Елизавета уселась на пол, у ног хозяйки дома, и стала как-то снежно-королевски смотреть на удобно откинувшегося в кресле Денисова, который блаженно улыбался, говоря о своем.

– Вот, например, у нас каждый начинающий клоун должен первым делом изготовить себе нос. Ну, считается, что это такая инициация, что ли. Все должны пройти через это. В дальнейшем совершенно необязательно, что именно нос своего изготовления ты будешь носить на арене, даже, скорее, наоборот, это наверняка будет сделанный по заказу нос, в специальной мастерской, специально обученным мастером. А возможно, ты вообще придумаешь себе образ, не требующий никакого носа, что-нибудь совершенно новое для себя изобретешь, какого-нибудь печального клоуна или иную, там, фишку.

– Как Енгибаров, – вставил эрудированный Ильин.

– Именно, – Денисов посмотрел на Ильина с уважением. – Но тем не менее. Традиция есть традиция, все первокурсники с этого начинают. И я тоже начал. Пришёл в училище и мне мой мастер выдал материал под расписку, папье-маше, краски – и так далее. Я сделал. Он говорит, нет, плохо. Я сделал ещё. Опять плохо. В общем, я два дня по восемь часов занимался изготовлением носов. К концу второго дня у меня болели даже такие мышцы, о существовании которых я и не знал, хотя я, ну, достаточно тренированный субъект. В нашем деле без тренированности никак нельзя.

– Это вас так учат профессию любить? – поинтересовалась с пола Елизавета.

– Я не знаю, – улыбнулся Денисов. – Может быть, и это тоже. Но скорее всего, они учат просто тому, что наша профессия – это сначала тяжёлый труд, а потом творчество. И они правы. Потому что после этих носов уже ничто не способно настолько ввести в курс этого дела. Ты уже внутренне подготовился к тому, что всё будет тебе так даваться, через боль и невыносимые усилия. И потом, когда что-то вдруг получается легче, чем ты рассчитывал, ты исполняешься благодарности по отношению ко всему белому свету – и душа поёт. Так, знаете, поёт, просто радостно слушать, как поёт.

В какой-то момент его тирады я несогласно прокашлялся.

Денисов, видимо, уловил это каким-то своим сценическим чутьем – я полагаю, их должны чему-то подобному учить – и повернулся ко мне, ласково улыбаясь.

– То есть, я хотел сказать, – сказал я, – что, по-моему, совсем необязательно, чтобы творчество обязательно соседствовало с тяжким-претяжким трудом и являлось его результатом. Мне даже другое кажется. Мне кажется, что подлинное творчество являет собой акт необычайной легкости, такого мгновенного высвобождения энергии, её мгновенного преобразования в какие-то иные, переплавленные формы.

– Вы знаете, – сказал Денисов, обращаясь ко мне на «вы», – вот моё искусство, искусство клоуна – это такая странная штука, не всегда и не полностью востребованная. Вот учится нас, допустим, десять человек на одном отделении, а работать будут потом – ну, от силы три-четыре.

– А остальные? – спросила Терпсихора, склонив голову на манер Алёнушки с картины Васнецова.

– Остальным придется как-то по-другому устраивать свою жизнь. И каждый внутренне к этому готов с самого начала.

– И ты готов? – поинтересовалась Елизавета с пола, двигая своими длинными стройными ногами.

– Да, конечно, – лучезарно улыбнулся Денисов. – Я тоже готов к этому изначально. У меня есть, если можно так сказать, вторая профессия. Дело в том, что в детстве я много общался со своим отцом. Так отчего-то сложилось, что отец был для меня очень важной фигурой на каком-то этапе моей жизни. Мы выезжали с ним в деревню, практически каждое лето выезжали. В глубинку, на Дон. А вы знаете, сколько на Дону рыбы? Просто какое-то катастрофическое количество рыбы на Дону. И вот мой отец учил меня её ловить. По-разному. На удочку, на спиннинг, даже сетью ловили, помню. Так что, в крайнем случае, не пропаду. Устроюсь рыбаком в рыболовецкую флотилию, буду бороздить дальние моря. Да хоть и не дальние моря, а прибрежные воды, или пусть даже по озеру буду ходить на маленьком баркасе. Но семью свою будущую я обязательно покормлю.

– То есть ты уже сейчас, заранее знаешь, что у тебя будет семья? – спросила Елизавета с пола.

– Ну а как иначе? – лучезарно улыбнулся Денисов. – По-другому же нельзя. Я воспитывался отцом, как я уже говорил. Воспитывался в чётком убеждении, что создание семьи и поддержание её в работающем состоянии – это один из важнейших человеческих навыков, одно из самых главных предназначений, притом не только там мужчины, а человеческой особи вообще.

– Интересно, что у тебя с такого молодого возраста превалярующей является именно эта цель, – сказал Терлеев, улыбаясь не менее, а то и более лучезарно. – Просто смотри. Обычно люди твоего возраста, нашего возраста, поскольку разница между нами невелика – я имею в виду возрастную разницу, – поправился он, во избежание каких-либо недомолвок, – на первое место ставят стремление к самореализации, к выражению своего творческого потенциала. Сейчас, в таком возрасте, обычно именно это кажется самым главным-преглавным. Особенно это так, если человек так или иначе имеет отношение к какой-либо творческой профессии. Я, заметь, не говорю, что это правильно, что так должно быть, просто обычно это происходит именно так. Мысли о создании собственной семьи, о самоопределении в социальном смысле приходят в голову обычно чуть позже, ближе к тридцати годам.

– Если вообще приходят, – сказала Терпсихора, глядя (и, очевидно, намекая) на меня.

– Если ты думаешь, что мне не приходят в голову подобные мысли, то ты заблуждаешься, – поспешил заверить я, не только гостеприимную хозяйку дома, но и всех собравшихся.

Полное отсутствие алкоголя на столе было как-то непривычно, вынуждало мозг прибегать к каким-то новым, небывалым до сей поры методам разгона, искать альтернативные источники энергии. – Я, может быть, задумывался о социальном, как тут было сказано, самоопределении с самых что ни на есть младых ногтей.

– Отчего же, – томно спросила с пола Елизавета, – ты до сих пор не самоопределился социально?

– Послушайте, – у меня как-то даже зашумело в голове, как бывает частенько, когда я ощущаю несправедливость окружающего мира, его явную агрессию по отношению ко мне и зацикленность на моей персоне, – послушайте, мы что, сюда пришли меня обсуждать? У вас нет более благодарной темы для обсуждения? Посмотрите, человек на клоуна учится. Когда ещё вы встретите живого человека, который учится на клоуна? Вот взяли бы, порасспрашивали его, хотя бы даже из досужего любопытства – неужели вам не интересно?

– А может быть, нам интересен как раз ты, – томно сказала с пола Елизавета, чем вызвала неодобрительный взгляд Терлеева. И я его понимаю.

– А человек, который учится на клоуна вам, значит, не интересен? – спросил я.

– При этом я совершенно не обижаюсь, – сказал человек, который учился на клоуна. – На мой взгляд, это даже в порядке вещей. Ничего такого сверхъестественного в обучении на клоуна, в конце концов, нет. Я же говорю, труд, тяжкая работа, разного рода упражнения – и тренировка воли.

– Нет, почему же, – поспешила заглядить неловкость хозяйка. – Он нам тоже очень и очень интересен. Вот расскажи нам, Миша, как вас там ещё учат на клоуна?

– Как? – сказал Денисов, ни на секунду не переставая как-то смущённо теперь улыбаться, как бы благодаря окружающую публику за то, что оказался в центре внимания. И как он с таким смущением собирался выходить на арену, непонятно. – По-разному учат. Клоун ведь, в сущности, это такой синтетический цирковой артист. Он должен уметь всё, но делать вид, потом, в своих номерах, что как будто не умеет.

– Это, кажется, называется «репризой», – уточнил эрудированный Ильин. – Клоунский номер, в смысле, так называется.

– Совершенно верно, – мягко согласился Денисов. – А чтобы (продолжу свою мысль) делать вид, что ты что-то делаешь плохо, неумело и смешно, нужно на самом деле уметь это делать очень даже хорошо и профессионально. Вот нас и учат всему. У нас есть жонглирование, верховая езда, иллюзионизм, воздушная акробатика, дрессура, всё-всё-всё. Нас, конечно, учат этому всему не так, может быть, подробно, как профессиональных воздушных гимнастов или канатоходцев, но зато, я бы сказал, намного интенсивнее. Мы за пару месяцев проходим их полугодовой курс. А плюс к этому – у нас ещё и свои какие-то дисциплины есть, чисто клоунские, по специальности. Так что достаточно тяжёлое это дело. Как и было понятно с самого начала, с того момента, как я носы клеил. Для этого-то эта процедура и предназначена. Чтобы сразу было понятно, насколько это нелёгкое дело. Шесть дней в неделю я учусь. С восьми утра до шести вечера. Иногда до семи даже. Прихожу домой и натурально валюсь в постель. И ничего больше не надо. Ни кефира, ни женщину приласкать.

– А теория у вас есть какая-то? – поинтересовался я. – Теоретические занятия, то есть. Ну, теория смеховой культуры, или история клоунского дела, такое что-то?

– Да, конечно, – сказал Денисов. – Смеховую культуру изучаем, историю клоунской мысли, теорию смеха. Я не очень эти предметы люблю, там ничего интересного не бывает, как правило. И они всегда рано утром бывают, пока организмы наши ещё не размялись, поэтому на них всегда очень хочется спать. Я и сплю, по большей части.

– А я вот помню, как мы с отцом абрикосы собирали, – вдруг мечтательно произнёс Ильин – и все посмотрели на него. – У нас были две громадные корзины, и мы собирали в них абрикосы. Я, помню, всё время боялся, что у моей корзины дно прорвётся, абрикосы были такие спелые-спелые, мягкие, сочащиеся даже какие-то. И я всё думал, вот сейчас прорвётся дно, они покатаются по земле, я перепугаюсь, начну их собирать, и топтать ногами. Они будут чмокать подо мной, лопаться, все колени мне забрызжет соком – я в шортах тогда ходил, маленький был, и подавлю большую часть.

– У тебя были какие-то особенные отношения с отцом? – спросил Терлеев, радостно глядя на Ильина, в предвкушении новой жертвы.

– Да нет, нормальные отношения были. Близкие достаточно, но не так, чтобы чрезмерно близкие. Нормальные отношения.

– А отец теперь с вами не живёт? – продолжал допытываться Терлеев.

– Почему ты так решил? Живёт, все в порядке. Нормальная семья у них с мамой.

– Вот видишь, – обрадовался Терлеев. – Как ты говоришь – «у них с мамой». Выходит, ты себя к этой семье не причисляешь. Так?

– Да почему же? То есть, может быть, и не совсем причисляю, но не по тем причинам, которые ты хочешь мне навязать. Просто – ну, просто я уже вырос, у меня впереди своя жизнь, как я надеюсь, своя семья – а это семья моих родителей, то, что строили и построили они. Без особенного моего участия. Я принимался ими как данность, как приложение друг к другу.

– И тебя это теперь гнетёт? – с пониманием спросил Терлеев.

– Да нет, с чего ты взял? Это нормально, по-моему, естественно. Я и был таким приложением. Ведь все мы до определённого момента не существуем самостоятельно, без наших родителей. Это относится даже к бунтарям, к тем, кто восстаёт против образа жизни родителей в переходном возрасте. Даже у них – этот их бунт, это их восстание, прежде всего, обусловлено тем, что они видят некую модель, вне которой они долгое время себя не представляли и не ощущали. И вот наступает какой-то момент, когда они понимают, что, на самом-то деле, эта модель им не по душе, что они хотят из неё вырваться. А сделать это бывает очень и очень непросто. Потому что это единственный зримый мир для них. В моем же случае всё было гораздо проще и понятнее. Я был послушным и неконфликтным мальчиком. Родители меня любили, но любили как своего сына, а не как личность. Если и говорить о каком-то конфликте, то только вот в этом поле, разве что.

– То есть это твоё воспоминание об абрикосах не связано с твоими сложными взаимоотношениями с отцом?

Может быть, оно связано просто с детством, – предположила Терпсихора, глядя через волосы на Ильина. – Просто детство осталось идиллическим периодом в твоей памяти, и оттого все воспоминания, идущие оттуда, кажутся тебе светлыми и многозначительными.

– Может, и так, – задумался Ильин.

– А вы, что, где-то на юге жили? – спросил я.

– Нет, мы жили тут, но на лето всё время выезжали на юг, в Крым. Там у нас были родственники и у них был какой-то крымский хутор или как там это называется. Горы, белые мазанки, абрикосы.... Где это всё теперь? – мечтательно произнёс Ильин, зажмурившись от подступившего несчастья.

– Вы знаете, – сказала я, – эта ваша последняя мысль вообще очень показательна. Где это всё теперь – где то, что не давало нам спать, когда нам было восемнадцать? Куда нас забросила жизнь? Что с нами со всеми стало? Почему мы оказались здесь и ведём себя так? Где наша искренность? – эти вопросы часто задают себе и окружающим люди вашего склада, максималисты и экстремально настроенные молодые люди. Но на самом-то деле всё не совсем так. Всё, я полагаю, укладывается достаточно плотненько в одну продуманную схему. Ваше соби́рание абрикосов в прорывающуюся корзину как раз и привело вас сегодня сюда. Если бы вы тогда не собирали абрикосов, мы бы не сидели сейчас тут.

– То есть, вы сторонник матричной теории? – спросил меня Ильин. – Фатализм и предопределённость?

– Нет. Я не об этом. Я только хотел сказать, что всякое развитие поступательно по своей сути.

– У тебя что-то случилось? – спросила меня Терпсихора, наклоняясь ко мне как-то уж совсем по-матерински.

– Что у меня могло случиться? Нет, ничего не случилось. Абсолютно никаких новостей.

Терлеев тоже посмотрел на меня с подозрением, но ничего на этот раз не сказал. Зато его женщина Елизавета переместилась на моё кресло, уселась совсем рядом со мной, касаясь вплотную и, в свою очередь, мечтательно заговорила.

– А мне в кино предлагают сняться...

– Что за кино? – спросил абрикосовый киноман Ильин.

– Не знаю, – ответила Елизавета. – Пока только прислали сценарий. Толстый такой, никак не возьмусь за него. Хорошо ещё роль не главная.

– А почему именно тебе предложили? – спросил Денисов. – Ты, что, имеешь актёрское образование? Ты что-то заканчивала?

– Нет, в том-то и дело, – даже как-то удивлённо ответила Елизавета. – Режиссёр мой хороший знакомый, и сказал, что у меня подходящий тип внешности. Он почему-то решил снять этот фильм тут, у нас, не везти же ему с собой всех актёров. Он только исполнительницу главной роли везёт. А остальных решил тут найти. Там ролей всего немного.

– Постой, откуда ты знаешь? – спросила Терпсихора. – Ты ведь ещё сценарий не читала.

– Ну, он говорил. Я с ним долго беседовала на эту тему.

– По-моему, – неожиданно помрачнел Терлеев, – это способ затащить тебя в постель. И я не разделяю твоего восторга от этой перспективы. Возможно он какой-нибудь сексуальный гигант, проповедующий доктрины тантрического или иного необычного секса, мне сложно сказать. Может, тебя просто прельщает мысль оказаться в кровати с известным кинорежиссёром и таким образом войти в историю. В любом случае, это как-то... ну, я не знаю... непонятно для меня.

– Да какой он известный, – попыталась успокоить его Елизавета. – Совершенно не известный. Просто я давно его знаю.

Терлеев всё равно как-то странно смотрел на Елизавету, явно не одобряя её намерений.

– Ну, а ты, – спросил он Терпсихору. – Собираешься поступать учиться, как говорила?

– Не знаю, если наберу работ подходящих по уровню, то соберусь. А если нет, то меня просто не возьмут.

– А ты разве не учишься? – спросил Денисов, которому, казалось, совсем не мешало переключение внимания с него на других субъектов разговора. Он продолжал всё так же лучезарно улыбаться и смотреть на присутствующих с какой-то непередаваемой светлой насмешкой.

– Я учусь на французской филологии, – пояснила Терпсихора. – А собираюсь поступать на художественную фотографию.

Это было безумное время, в том смысле, что масса моих знакомых вдруг открыла в себе безумную тягу к художественной фотографии, что, на мой взгляд, было обусловлено всего лишь стремительным развитием и относительной доступностью цифровой техники. Они ходили по улицам, а то и выезжали для этих целей специально в лесопарки и прочие степи – и фотографировали там разные замысловатые листики, капли дождя на раскалённых скалах, знакомые бытовые объекты в незнакомых ракурсах, и друг друга. Бешено все любили фотографировать друг друга. В самых отвлечённых позах, в образах и антиобразах, одухотворённо лежащими на крышах и глядящими в небо, задрапированными в какие-то чёрные вифлеемские тряпки и просто выдыхающими пар от мороза, стоя на крыльцах средневековых зданий моего города. Моего саднящего города.

– И ты тоже фотографируешь? – спросил я Терпсихору из вежливости.

– Балуюсь, ага, – ответила она, чувствуя негативную коннотацию моего вопроса.

– Но хочешь серьёзно подойти к этому вопросу? – уточнил я. – То есть, вот именно хочешь научиться, и посвятить этому всю свою дальнейшую жизнь? То есть, ты видишь себя в будущем фотохудожником?

– Если всё получится. Почему бы и нет, – сказала Терпсихора, впервые при мне проявляя хоть какую-то эмоциональность. – Это мне нравится, я всегда мечтала о том, что буду зарабатывать деньги тем, что мне на самом деле нравится. И вот это занятие, как мне кажется, как раз предоставляет мне такую возможность.

– Да, – сказал я. – А вот замуж выходить ты планируешь? Детей рожать? Улучшать демографическую ситуацию в стране?

– А это так необходимо? – Терпсихора попыталась обдать меня холодом, и даже морозцем.

– Некоторые считают, что именно в этом и состоит главное предназначение женщины.

– Я, видимо, не отношусь к этим некоторым.

– Подожди-подожди, – вмешалась вдруг Елизавета, вдохновлённая неожиданным полётом мысли, приключившимся у неё в голове. – Это ты что же, ей предложение делаешь?

– Увольте, – сказал я, к немалому разочарованию собравшихся, уж не знаю, как там насчёт самой Терпсихоры.

– Я гипотетически интересуюсь.

– Вот и я гипотетически, – сказала Терпсихора. – Ведь даже гипотетически жить семьёй – скучно.

– Почему это? – неожиданно возразил Терлеев. – Например, я планирую когда-нибудь завести семью.

– Так это «когда-нибудь», – выразительно сказала Елизавета. – Не прямо же сейчас.

– Нельзя зарекаться. Мало ли когда тебя посетит такое желание, – сказал Терлеев и посмотрел вверх, на лампу.

– А что нескучно? – саркастически спросил Ильин, возвращаясь к недавнему разговору. – Жить промискуитетными связями нескучно?

– Мне вообще секс как-то не очень интересен, – сказала Терпсихора с некоторым вызовом даже.

Я посмотрел на неё и понял, что, в общем, от этих людей можно ожидать всего, чего угодно. В том числе и вот подобных заявлений. Явно провокативного характера. А с другой стороны, мало ли что там у них происходит внутри. Может, они действительно достигли высших степеней свободы и так всё и есть, и не врут теперь. В любом случае – это было недоступно моему пониманию.

– Здрастье, – сказал Терлеев. – Уж кто бы говорил.

В комнате повисло довольно напряжённое молчание. Не знаю, как там остальные, а я задумался о том, что такое интересное знает Терлеев о на-

шей сверхгостеприимной хозяйке, что может со знанием дела выступать с таким заявлением.

– Да, мне тоже кажется, что ты погорячилась, – сказала Елизавета, положив свои ноги на мои. Я от неожиданности отодвинулся от неё. Отпрянул как-то. Отстранился на максимально возможное расстояние – которое, тем не менее, продолжало оставаться мизерным и минимальным. Не то, чтобы она мне совсем была неприятна как женщина, нельзя так сказать. Но почему-то я не люблю таких неожиданных прилюдных проявлений непонятно чего, да ещё в присутствии заинтересованных сторон. Терлеев, впрочем, смотрел на нас спокойно. Я не представлял для него опасности. Я ни для кого не представлял опасности. Как крутящийся стеклянный шар на детских дискотеках в пионерлагерях. Как молочный коктейль.

– Но я же говорю о своих, о своих личных ощущениях, – настаивала Терпсихора. – Как чувствую, так и говорю. Для меня это так, для вас это совсем не так. Это же не значит, что то, что я говорю, должно являться императивом для остальных, для вас всех. Нет. Зачем?

– Но ты как-то слишком бросаешься в крайности, – сказала Елизавета. – Зачем лишать себя удовольствий, которых можно себя не лишать – и продолжать при этом жить насыщенной духовной жизнью.

Как они все любят заворачивать про духовную жизнь. Просто хлебом не корми (кстати, хлеба и не было, как, видимо, недостаточно духовного продукта. Его роль выполняли пресные рисовые лепешки, которых я попробовал одну и ту недоел), а дай порассуждать о духовности и о несовместимости с миром обывателей и прочих старперов.

– Я вот вполне бургер, – сказал я. – То есть, как бургер. На бургера мне, пожалуй, денег не хватает. Но такой вполне себе недобургер. Да.

Тут я вспомнил одного знакомого немца по фамилии Нидербергер и задумался об орфоэпии.

– Ты на себя наговариваешь, – сказала Елизавета. – Какой ты, к черту, бургер? Мы же все тебя хорошо знаем.

– Да? – спросил я.

– Ну, в той степени, в какой ты нам себя показываешь.

– Да? – спросил я.

– Ну, в той степени, в какой мы можем увидеть то, что ты нам показываешь. В той степени, в какой мы в состоянии избавиться от наших стереотипных представлений о тебе и разглядеть то, что ты считаешь нужным нам показать.

– Да? – спросил я.

– Да, – сказала уже и Терпсихора. – И мы никак не видим в тебе бургера.
– Я вот деньги, к примеру, люблю, – сказал я. – А спасать и исправлять человечество, напротив, не люблю. Вы же все тут любите исправлять человечество?

– С чего ты так решил? – спросила Терпсихора.

– Нет? – спросил я.

– Ну, может быть, отчасти, если ты так нас видишь, значит, так оно и есть. Каждый человек видит то, что он видит. А значит, в том, что он видит, есть определённая доля истины. Потому что нельзя сказать, что видение того или иного человека по определению неверно, именно потому неверно, что это именно видение данного конкретного человека, чью позицию или мирозерцание мы не разделяем.

– Нет? – спросил я.

– По-моему, это достаточно бесспорно, – сказала Терпсихора.

– А я не понимаю, что за противопоставление, – вступил в разговор Терлеев. – Почему ты противопоставляешь себя и каких-то абстрактных «нас»? Ты, что, не человек? Чем ты принципиально от нас отличаешься?

– Я противопоставляю? – спросил я.

– Да, мне так показалось, – сказал Терлеев.

– Не знаю, – сказал я. – Я не противопоставлял, вроде бы. Ни капли не противопоставлял. Я наоборот говорю, что я гораздо менее возвышенный и духовный, чем вы.

– В этом наблюдении снова противопоставление, – сказал Денисов, лучезарно улыбаясь и явно любя весь свет. Именно в этот момент стало катастрофически ясно, насколько в нём много любви ко всему человечеству, ко всему, без исключения. В том числе и ко мне. – Понимаете, когда человек нарочито занижает свою планку, это, возможно, даже ещё большее противопоставление, чем когда он говорит о своей избранности и богоотмеченности. Вы не согласны со мной?

– Это как панк-культура, – сказал эрудированный Ильин. – В обществе панков самым большим панком является человек, аккуратно причесанный и одетый в костюм-тройку.

– А деньги и я люблю, – сказал Терлеев. – Это ничего не объясняет.

– Нет? – спросил я.

– Нет, – убеждённо отозвался Терлеев. И неожиданно добавил: – Хочешь, я тебе свою картину подарю?

– Подари.

Почему-то я подумал, что Терлеев полезет сейчас куда-то вниз и извлечёт холст на свет божий. Вроде того, что он, как подлинный художник, везде ходит со своим творчеством. Нет. Он кивнул головой в том смысле, что позже, когда-нибудь, непременно, он зафиксировал этот разговор в клетках памяти своего мозга – и картины мне не избежать.

– А мне и нечего тебе подарить в ответ, – сказал я.

– Здраастье, – поздоровался Терлеев неизвестно с кем. Я даже заглядывался, не прокрался ли кто-нибудь незамеченным в квартиру Терпсихоры. Вроде, нет. – Я же не для того это сказал, – пояснил Терлеев. – Просто мне захотелось подарить хорошему человеку свою картину, не из желания получить какой-то ответный подарок, а просто. Просто. Понимаешь, просто?

– Понимаю, – сказал я. – Просто.

– Ну, вот мне захотелось сделать тебе приятное. А как я ещё могу сделать приятное? Только так и могу сделать тебе приятное. Раз я пишу картины, значит, наверное, тебе будет приятно получить от меня кусочек моего творчества, ведь что такое кусочек творчества для творческого человека?

– Что это такое? – спросил я.

– Это кусочек его души, если говорить высоким стилем.

– Ну, спасибо. Только чем я его заслужил, не понимаю.

– Опять, – сказал Терлеев таким же тоном, как когда он неожиданно начал здороваться с кем-то невидимым. – Ну просто же. Ты мне приятен как человек. Это недостаточная причина, по-твоему?

– Вполне достаточная, – сказал я.

– И мне ты тоже приятен, – неожиданно сказала Терпсихора. – Даже не смотря на то, что замуж мне предлагал выйти.

– Я? Когда это я успел? Что-то я не очень помню. Может, пьяный был? Спать я мог, хотя, если честно, даже это маловероятно.

– Да нет, не был. Сегодня предлагал. Несколько минут назад. У меня и свидетели есть, – и Терпсихора широким жестом показала на присутствующих, таким хороводным жестом, каким обычно пользуются в каких-нибудь величальных танцах русские красавицы в сарафанах или понёвах.

Что за понёва? Чего она вдруг у меня вылезла? Ну, вылезла, значит, и пусть будет. Оставляем понёву.

– Я не предлагал, – смешно сказал я. То есть, я почему-то вдруг предложил, что все и правда могли подумать, будто я предлагал Терпсихоре руку и сердце прямо вот здесь и сейчас, и что такие неосторожные слова вдруг начнут меня к чему-то обязывать – и мне стало от этого страшно. Ещё страшнее стало, когда я спустя некоторое время понял, что Терпсихора действительно сделала вывод, что я на полном серьёзе звал её замуж. – Не предлагал. Ты не так поняла.

– Но я всё равно отказалась, чего теперь спорить. Так вот, и даже несмотря на это, ты всё равно приятен мне как человек.

– И мне тоже приятен, – вдруг сказала Елизавета с пола и странно на меня посмотрела. Когда эти слова говорила Терпсихора, она совершенно адекватно смотрела в пол, в стену, куда-то мимо меня, как обычно поступают люди при разговорах друг с другом. Поэтому её заявление не слишком меня

встревожило. То есть, да, меня встревожило её настойчивое повторение, что я, якобы, предлагал ей руку и сердце, чего не было, по моим наблюдениям и воспоминаниям, и в помине. Но само её утверждение о моей приятности меня ничуть не встревожило. Вполне обычное заявление. Чего ещё можно ждать от девушки подобного рода? То есть, опять-таки, ждать, возможно, приходится как раз много чего, но вот эти её слова ничуть меня не удивили. Когда же то же самое сказала Елизавета с пола, она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза – своими карими с подведёнными ресницами. Заглянула и сказала это как-то со значением, ну, или так мне показалось. Я вдруг как-то оцепенел и почувствовал, что по спине бегают мурашки, лёгкие, но цепкие. Как кролик перед удавом себя почувствовал. Обычно в специальной и прочей литературе мурашки ассоциируются с эротическим откровением. Причём это я не задним числом вспомнил, это я тогда же сразу подумал. Подумал – и стал честно в себе разбираться, вызывает ли во мне этот пристальный, проникающий взгляд Елизаветы с пола эротическое откровение. И не смог ответить себе на этот вопрос. С одной стороны, вроде бы так уж однозначно не вызывает, тем более, вот и Терлеев посмотрел на меня не слишком дружелюбно – и как бы не раздумал теперь дарить картину. Не то чтобы мне так нужна была эта картина, но я уже как-то настроился, что ли. С другой стороны – мурашки. Мозги говорят одно, а инстинкты и дневник наблюдений за природой фиксируют совсем другое. У меня часто такое случается. Я, на всякий случай, пересилил себя – и ответно стал пялиться в глаза Елизавете. Так продолжалось несколько звенящих секунд, и я не знаю, что там подумали окружающие – и вообще, заметили ли они.

Напряжение снял Терлеев, чем зародил во мне подозрение о том, что не всё в его репутации провидца и ловца человеческих душ надумано.

– Мне тоже приятен, – сказал он и профессионально улыбнулся мне. Улыбка получилась чуть-чуть вымученная, натянутая, но только совсем чуть-чуть, самую малозаметную малость.

Тут и прочие пошли изгаляться.

– Я тебя мало знаю, – сказал Ильин, – но, пожалуй, присоединюсь к высказанному мнению – ты и правда достаточно приятный человек.

– Я вас совсем не знаю, – сказал Денисов, – вообще первый раз вижу, но, судя по всему, человек вы, действительно, исключительно приятный, и даже, не побоюсь так вот открыто заявить, неординарный.

– Вы тоже, – не удержался я, – вы тоже все без исключения приятны мне как люди. Безумно приятны. Очень приятно находиться с вами в одной компании.

В этой взаимной приятности мы и присидели следующие полминуты.

Потом я стал думать, а хозяйка принесла ещё какой-то еды. Еды было не так чтобы очень уж много на этом празднике жизни, но приносилась она концептуально мелкими порциями – и эффект от этого получался замечательный. Все разложили еду по тарелкам и стали есть. Её было настолько мало, что все присутствующие – шесть человек – разложили её по тарелкам, и она кончилась. Ну, может быть, эта партия закончилась, может быть, у неё там ещё что-то было в закромах припасено – в тот момент это было невозможно сказать. Гости стали рассуждать о том, что содержится внутри еды. Даже Елизавета поднялась с пола и тоже стала обсуждать.

– Вот тут вот, мне кажется, содержится грецкий орех, – говорил, причмокивая, Денисов. – Я ощущаю его вкус. Ведь я прав? Тут содержится грецкий орех?

– Прав, – кивала головой Терпсихора. – Содержится.

– И ещё что-то необычное, – поддержала беседу Елизавета.

– Непонятный какой-то овощ ещё содержится. Терпкий такой, придающий особый аромат всему блюду.

– Как вы думаете, что это могло быть? – лукаво поинтересовалась Терпсихора.

– Пейот, – пошутил я.

Как-то на этом моём слове все смутились. Кто-то перестал жевать, замер челюстями в воздухе, как бы остановившись посередине фразы, другие, напротив, зажевали активнее, не то стремясь побыстрее проглотить, не то просто за звуками собственных жующих челюстей стремясь скрыть неловкость.

– Да ты что, – сказал Терлеев. – Если бы это был пейот, я бы сразу по вкусу понял. Даже раньше, чем кто-либо из нас успел бы ощутить его воздействие. У него вкус характерный, ни с чем невозможно перепутать.

– А ты пробовал пейот? – спросил Ильин.

– Ну, приходилось, конечно, – как-то скромно ответил Терлеев. – Я раньше много чего пробовал. Потом перестал. Потом вот как-то, помню, сел, подумал и решил, что хватит. Что больше ничего такого не буду пробовать. Потому что не в этом же, в конце концов, заключается таинственный ход жизни. То есть, это всё обманки, которые нам выставляет не знаю даже кто, некоторые называют это дьяволом, но это неважно. Это лёгкий и отвлекающий путь. Если человек хочет прожить полноценно, испытать всё полагающиеся ему эмоции в чистом виде, а не вызванные искусственно – и таким образом представляющие собой ни что иное, как суррогаты, а подлинно и незамутнённо – то человек выбирает то, что выбрал я. Естественные соки своего мозга.

– Какой пейот, о чём вы говорите, – сказала Терпсихора. – Это обыкновенный жареный сельдерей.

– Никогда бы не подумал, – удивился Денисов, причмокивая и всё так же лучезарно улыбаясь. – Сколько неожиданных открытий приносит нам каждый день. И за это надо их ценить, в смысле, дни. Каждый день по-своему очень ценен, каждый день несёт массу интересного, нужно только уметь этим распорядиться – и насладиться.

– То есть, ты придерживаешься философии «карпе дием»? – спросил Терлеев.

– А как это будет по-русски? – лучезарно улыбаясь, спросил Денисов.

– «Лови момент», – перевёл эрудированный Ильин.

– Ну, если очень утрированно, то, пожалуй, можно сказать и так. Я в каждом дне стремлюсь найти что-то, что сделало бы его краше, что отличало бы его от череды остальных одинаковых дней, хотя бы мелочь, что-то такое, ради чего стоило бы прожить этот день.

– То есть, – спросила Елизавета, – ты считаешь, что дни сами по себе не стоят того, чтобы их проживать, жизнь не имеет самостоятельной ценности? Ты искусственно придумываешь себе поводы для счастья и радости? Так получается? Жизнь в её естественных проявлениях тебе скучна?

– Нет, отчего же? Я ничего не придумываю искусственно, – попытался объяснить Денисов. – Ничего, что не было бы вызвано течением самой жизни. Все эти моменты, все эти удовольствия мне приносит сама жизнь, я только делаю маленькое усилие, чтобы вычленить их из её течения. Нахожу какой-то элемент в её мозаике и фокусирую взгляд на нём, концентрируюсь на нём и именно таким образом делаю его центральной точкой своего дня.

– Я тоже когда-то так жил, – сказал я.

– А почему перестали? – спросил меня Денисов, не переставая улыбаться. – Что-то случилось?

– Да нет, ничего такого глобального, пожалуй что, не случилось. Просто – ну, коротко говоря, я утратил эту способность. Моё зрение перестало фокусироваться.

– Но это же не могло произойти просто так? Ведь что-то обязательно явилось толчком, произошло какое-то событие, которое лишило вас такого умения.

Так я тебе и сказал.

– Нет, ничего, ну вот не помню я ничего такого. Вот просто – бац! – и потерял такую способность. Хотя я должен с вами согласиться – так жить гораздо легче. Приятнее и легче. Это замечательная способность, так относиться к своей жизни. Я вот вас слушаю сейчас и завидую. Завидую хотя бы потому, что вы до сих пор умеете так делать.

– Зависть – недоброе чувство, – сказал Денисов с кроткой ангельской улыбкой. – Вы не завидуйте, а просто искренне порадитесь за меня. Мне

от этого будет несказанно приятнее. А потом подумайте и решите, что вы можете сделать, чтобы восстановить в себе такую возможность, чтобы вновь натренировать этот навык. И жизнь засверкает перед вами всеми утраченными, казалось бы, красками.

– Я обязательно именно так и поступлю, – пообещал я. – Только с чего вы взяли, что жизнь утратила для меня свои краски? Я совсем так не думаю.

– То есть, вы хотите сказать, что, несмотря на то, что вы потеряли способность радоваться каждому дню, вы все равно любите жизнь и ощущаете её полноценность?

– Почему бы и нет.

– А мне непонятно, – почти в первый раз за вечер встрял Ильин, – почему вы считаете зависть недобрым чувством? Все чувства человека естественны и не то, чтобы добры, но равнозначны. Нет откровенного добра и откровенного зла. Есть просто разные эмоции. Ни одна из них не менее ценна, чем другая. Мне так кажется. Мы не должны пугаться никаких эмоций – и открыто их выражать.

– Нет, всё же в салате определенно был пейот, – подумал я вслух.

– Вы знаете, что я вам скажу? – спросил Денисов. – Я недавно подумал вот о чём. Почему в наше время девушки перестали закалывать в волосы цветы? Я на улице как-то увидел девушку с розой в волосах и понял, как это красиво. Это придает что-то такое, какое-то испанское очарование, даже не очень глубокая девушка становится похожа на Карменситу. Это ведь романтично. Девушки! – обратился он уже напрямую – почему вы не закалываете в волосы цветы? Объясните мне, пожалуйста.

– И немаленькая доза, – сказал я, продолжая размышлять вслух.

– Да ну, – сказала Терпсихора. – Это ну... это мещанство какое-то.

– Ты снобка, я всегда говорил, что ты снобка, – отчего-то обрадовался Денисов.

– А ты не сноб? – парировала Терпсихора.

– Мы, собравшиеся тут, все в той или иной степени снобы, – задумчиво проговорил Терлеев. – Возможно, это неправильно, возможно, это показывает, что мы не умеем принять мир и людей такими, какие они есть. Нужно быть терпимее, особенно к людям. Допустим, я знаю об этом теоретически, но на практике могу применить крайне редко. То есть, всегда понятно, что не нужно мерить людей по себе, ожидать от них такой же подкованности, хотя бы в вопросах живописи. Пример – соседка моя по лестничной клетке, Мария Ивановна, ничего не понимает в той живописи, которой я занимаюсь, а любит Шишкина и Левитана. У неё весь дом, все стены увешаны дешёвыми репродукциями Шишкина и Левитана.

– Какой же ты сноб, – сказала Терпсихора, – если ты знаешь, как зовут твою соседку по лестничной клетке. Это проявление твоей близости к народу. Я, например, совершенно не знаю, как зовут моих соседей. Более того, меня это даже не интересует – и никогда не интересовало.

– А я даже один раз пил с соседом, – вспомнил я, и на меня посмотрели так, будто я в приличном месте громко испортил воздух.

– Я условно, – пояснил Терлеев. – Я не знаю, как её зовут. Предположим, её зовут Мария Ивановна, всего лишь предположим. Это я для удобства повествования.

– А Шишкин и Левитан – тоже для удобства? – спросила Елизавета, которая, по моим ощущениям, добивалась какой-то открытой конфронтации со своим (как тогда считалось) молодым человеком. Впоследствии оказалось, что так считали все, кроме собственно самой Елизаветы. Ни на секунду она не полагала себя чем-то Терлееву обязанной или связанной с ним каким бы то ни было образом. Так что впереди у модного андерграундного художника была очередная цепочка страданий, которые, как известно, обогащают творческие натуры и дают им повод к сотворению новых бессмертных произведений. Казалось бы, нужно радоваться – ан нет, они отчего-то становятся депрессивными и склонными к суицидальным импульсам и тенденциям.

– Нет, Шишкин и Левитан не для удобства. Совершенно натуральные Шишкин и Левитан. Раньше я бы плевался и всячески обзывал эту Марию Ивановну, обвинял бы её в закоснелости, отсталости и заскорузлости. А теперь думаю – думаю, неизвестно, кто из нас более прав, мы, те люди, которые любят новое искусство отчасти только из-за того, что оно новое, недоступно широким массам и о его персоналиях мало кто слышал – или Мария Ивановна, которая любит Шишкина и Левитана нипочему, а просто любит и всё. Необъяснимо. Просто испытывает тягу. К ним конкретно. К Шишкину конкретно и к Левитану конкретно же.

– Я вот тут несколько месяцев назад был в музее, – рассказал я. – Про Шишкина ничего не скажу, а Левитан мне тоже понравился. Внушил мне Левитан.

– Что внушил? – не поняла Елизавета.

– Вообще внушил. Просто внушил.

– Это такой молодёжный оборот речи, – пояснил эрудированный Ильин. – так теперь говорят.

– Ой, как теперь только не говорят, – сказал Денисов, лучезарно улыбаясь. – Хоть возраст мой далеко не старый ещё, не вышедший, можно сказать, из молодёжного круга возраст – а и то далеко не всегда понимаю этот современный сленг.

– Что уж тогда обо мне говорить, – сказал я.

– Да ладно тебе приbedняться, – подбодрила меня Елизавета. – Человеку столько лет, на сколько он себя ощущает. Не больше и не меньше.

– Вот ты на сколько лет себя ощущаешь? – спросила меня Терпсихора.

– Не знаю. Нет однозначного ответа. Иногда на шестнадцать лет ощущаю, а иногда на пятьдесят.

– А от чего это зависит?

– Не знаю. Возможно, от давления ртутного столба.

Все замолчали и стали прислушиваться к тому, как их личный организм ощущает давление ртутного столба. Хотя я, конечно, сказал это просто так. Просто вот есть какие-то вопросы, на которые невозможно ответить. Есть такие вопросы, что непонятно, зачем человек их задаёт. То есть, предположительно, люди задают вопросы для того, чтобы получать на них какие-то ответы. Но вот бывает, задаст человек вопрос, а ответа на него толкового быть не может – просто никакого ответа не может на него быть, ну совсем вот никакого. Или вот такой, вроде этого столба только. И то – это только в силу моей природной находчивости я ответил на этот вопрос хоть так.

– А давайте поставим какую-нибудь музыку, – предложил лучезарный Денисов.

Тут началась очень знакомая история. Начали решать и спорить о том, какую музыку поставить. Терпсихора, как хозяйка квартиры и, соответственно, и всех её музыкальных составляющих, начала оглашать список потенциальных слуховых усад, а гости высказывали своё отношение к перечисляемым альтернативам. Понятное дело, что полного согласия достичь было нельзя. Брамс, к примеру, устроил, казалось бы всех, до тех пор, пока Елизавета не осознала, что это классическая музыка, и резко тогда воспротивилась. Напротив, Патти Смит вызвала неприятие со стороны Терлеева, который сказал, что слушать Патти Смит сейчас, в начале нового века – анахронизм и пережитки. Хотя только что так здраво рассуждал о Левитане и этом, втором, как его там...

Я встал и стал рассматривать фотографии, которые в изобилии висели на стенах комнаты. На фотографиях была представлена фотогеничная хозяйка в разнообразных позах и ракурсах, в разнообразнейших пейзажах, интерьерах и образах, а также красивые виды неведомых мне мест. Терпсихора увидела мой интерес к этой части её личности, подошла ко мне и стала пояснять, где, что, когда и кем было снято. К моему удивлению, почти все места, красивые виды которых были представлены, оказались мне не то, что просто известны – до боли знакомы. Ни одного экзотического места не присутствовало на фотографиях. Вот она – магия визуального искусства, умение видеть то, что мы видим каждый божий день. Или думаем, что видим. Я, например, не особенно умею видеть. Там с картинами, допустим, или с какими-нибудь индустриальными штуками – ещё куда ни шло, а вот с природой просто беда у меня. Не вызывает она у меня, как правило, бешеных восторгов в живом и естественном виде. И небешеных тоже не вызывает. А вот на фотографиях, в статике, запечатлённая неожиданным оком фотографа – совсем другое дело. Какой-нибудь обыкновенный дуб приобретает апокалиптические черты, и ворона – уже не просто ворона, а алланповский неверморный ворон, и трава зелена нездешней зеленью, и капли

дождя божественны, как в рекламном клипе. Дигитализация, что сказать. Впрочем, мне, кажется, следовало выражать больше восторгов по поводу изображений хозяйки, поскольку как-то моими охами и ахами в отношении видов природы она не слишком впечатлилась и достаточно быстро от меня отошла, расставив пояснительные акценты. Я же продолжал наблюдать фотографии, не слишком вслушиваясь в оживленную беседу трудящихся где-то позади меня.

– Тебе неинтересно с нами? – признаться, вопрос Елизаветы застал меня врасплох.

– Почему же? – повернулся я, стараясь лучезарно улыбаться, как они, и несколько театрально поводя руками. – Мы же говорили об этом. Мне с вами очень интересно. Почему мы всё время возвращаемся к этой теме?

– Ты же демонстративно отошёл. Так поступают обычно, когда или собеседники, или разговор не доставляют ни малейшего удовольствия, а, напротив, только раздражают. Скажешь, не так? – продолжала спрашивать Елизавета.

– Вечно вы всё утрируете. Я просто встал посмотреть на фотографии. Я люблю рассматривать фотографии, тем более, здесь попадают некоторые, изумительно сделанные. Мне нравится.

– А тебе не кажется, что это невежливо – в одиночестве смотреть, я согласна, красивые фотографии, когда в комнате есть ещё и живые люди, которые, возможно, хотят с тобой о чём-то побеседовать. Спросить тебя о чём-то, узнать твоё мнение по тому или иному вопросу.

– Ну так узнавайте, – разрешил я. – Хоть по тому, хоть по иному. Я думал, что, если вам понадобится вдруг моё конкретное мнение, вы меня как-нибудь окликнете или спросите погромче, так что я пойму, что вы со мной беседуете.

Тем не менее, я отошёл от полок с фотографиями и снова сел в кресло, излучая внимание к возможным вопросам. Вопросов не поступило. Присутствующие продолжали высокоинтеллектуальную беседу. Теперь они уже, кажется, добрались до религии.

– Кто бы что ни говорил, – говорил не кто и ни что, а Терлеев, – а христианство – жестокая религия.

Несмотря на все известные его постулаты про щёки, Библия в многочисленных местах призывает к духовному остракизму в отношении иноверцев. А это неправильно, нельзя так относиться к людям только за то, что они не верят в такого же бога, или что они верят в него не так, исповедуют не те ритуалы или возжигают в храмах не те благовония. Вы не согласны со мной?

Его собеседники задумались.

– Но тогда, получается, нет нежестоких религий, – сказал эрудированный Ильин. – Я не говорю про мусульманство, но вообще везде призывают всячески обращать иноверцев. А всякое насильственное обращение в свою религию – разве не есть насилие над личностью?

– Тут, по-моему, всё зависит собственно от силы характера, воли и тому подобное этой самой личности. Если она позволяет так себя подавлять, что ж – значит, она соглашается с тем, что иная воля сильнее её воли, – сказала рассудительная Терпсихора.

Я опять встал.

– Ты не согласен со мной? – спросил Терлеев, обращаясь уже непосредственно ко мне.

– Я не знаю. Я в религиозных вопросах не силён.

– Так никто не спрашивает твоего мнения о каких-то там теологических принципах, – сказал Терлеев. – Я с общечеловеческой точки зрения говорю. Разве можно кому-то – хоть кому – навязывать свою точку зрения, особенно по таким тонким вопросам, как вопросы религии?

– А ты сейчас что делаешь? – спросил я.

Я никоим образом не хочу показать, что я умнее людей, с которыми общался на этой шикарной квартире девушки со странным именем Терпсихора. Я вообще не считаю себя умнее людей, хотя люди зачастую именно так и считают, почему-то. То есть не то, что считают меня умнее их, упаси боже (все равно какой, лишь бы упас). В том смысле, что люди часто считают, что я думаю, что я умнее их. Что не так. Я так совсем не думаю. Просто иной раз ну такие глупости они говорят, что даже стыдно становится. Я-то, понятное дело, тоже говорю глупости, а то даже несу откровенный бред, но я это делаю либо спяну, либо с какой-то такой загадочной целью, которая кажется мне весьма даже благой в момент произнесения этого самого бреда, но отнюдь не обязательно является таковой по сути, по здравом размышлении. Словом, всё дело в том (на мой взгляд), не что именно произносится, а как это произносится, где и когда. Поэтому я вышел из комнаты и пошел исследовать остальные помещения этой шикарной квартиры.

На просторной кухне никого не было, и играла пьянящая музыка. Чарующий женский голос пел что-то лунно-красивое на незнакомом мне языке. Я заслушался и стал смотреть в окно. Вот вы говорите, «постмодернизм». Или не говорите, или я говорю «постмодернизм», или даже я этого не говорю. Или кто-то из нас (вы или я) думает про постмодернизм, или не думает. Спорим, убиваемся. Есть он, или прошла уже его эпоха. Это убийство настоящих проявлений или не убийство. А ведь в сущности, когда я про него говорю, думаю, не говорю или не думаю, я всего лишь использую (или не использую)

это слово для удобства терминологии. Просто трудно, знаете ли, выдумывать новые термины, да и ни к чему это. Может быть, даже вполне наверняка, то значение, которое я вкладываю в это слово, не соответствует его энциклопедическому определению. Я поясню, ну, попробую. Вот я стоял на кухне у девушки со странным именем Терпсихора, слушал божественную музыку и смотрел в окно. Было что-то такое, не то начало февраля, не то самый конец января. Поэтому уже стемнело – и улица была приглушена и размыта, как на картинах сепией. И – повторяю – на кухне никого не было. То есть, до того, как я туда пришел, музыка играла сама по себе, в пустоте. Ни для кого. Сама для себя. И вот я подумал о том, почему девушка со странным именем Терпсихора не живёт так, как ей хочется, ведь это же она, наверное, включила эту музыку и оставила её играть на пустой и тёмной кухне. Уж не знаю, зачем, то ли для того, чтобы прийти сюда, когда уйдут гости, и без шоковых интерлюдий погрузиться в свой мир, именно в свой, в тот, который она для себя создала и придумала, в мир, который ей действительно свойствен. То ли просто – вот она сидит сейчас в комнате, говорит про христианские и там, я не знаю, буддийские ценности, ругает каких-то общих знакомых за слащавость и несоответствие, а внутри себя знает, что тут, на кухне, играет эта музыка – и от этого чувствует себя спокойно и уверенно, с возрастающим апломбом громит традиционные ценности цивилизации, вроде брака или домашнего уюта. А ведь на самом-то деле... На самом-то деле, у неё в кухне играет эта музыка, и темно, и никого нет, только я забрёл случайно, забрёл в запретную зону, куда никому не положено забредать, не в этой конкретно кухне, а вообще. И музыка играет по кругу, она поставлена на вечный реверс – и почему Терпсихора действительно так не живёт? Почему она такая постмодернистская? Почему нужно прятать свое естество? Неужели так страшно? Неужели так страшно показать себя?

А потом я подумал про себя. А я? Почему я прячусь? Неужели и я тоже боюсь? Почему я делю людей на тех, кого можно запускать в пустую тёмную кухню с музыкой и на тех (подавляющее большинство), кого нельзя? Но мы условились, минимум, минимум про меня. Это неинтересно. То есть, мне, ясное дело интересно, но и только. И это не кокетство. Нет, правда. Просто – ну, цель другая. У этой повести совершенно другая цель. А о целях (это к вопросу о кухнях) никогда нельзя говорить прямо. Иначе – ну, иначе хрень получается и дидактика.

Потом в кухню вошёл улыбающийся Денисов. Он включил свет, и я сразу увидел его лучезарную улыбку. Она как-то зажглась одновременно со светом – или мне так показалось.

– Чудесная музыка, правда? – спросил он.

– Да, красиво, – отозвался я.

– А вы как-то так незаметно ушли, – продолжил Денисов. – Как-то по-английски. Вам все-таки неинтересно?

– Да нет же, не в этом дело. Просто, как вам объяснить? Нужно разнообразить интересы. У меня внимание, видите ли, очень рассеянное. Всё время переключения требует. Я сейчас, постою немного тут – и вернусь.

– А можно я тоже с вами постою? – Денисов даже на миг перестал улыбаться. Как-то он безбожно одухотворился, стал даже просвечиваться в неярком свете кухонной лампы. У Терпсихоры в квартире царили приглушённые тона.

– Стойте, конечно, пожалуйста. Кто же может вам запретить?

– Судя по вашему тону, вы как раз против того, чтобы я тут стоял.

– Да боже упаси. Ни в коем случае.

– Может быть, я оторвал вас от каких-то своих дум. Может быть, вам захотелось уединённых размышлений, а я взял и прервал их. Я ведь всё понимаю, достаточно часто бывают такие минуты, когда человеку хочется уединиться и поразмышлять о чём-то своём, только ему понятном. У меня и в училище так бывает. Я один раз на арене даже выступал, и то такой момент случился. Вот, представляете, у меня номер с партнёром, реприза, мой текст, а потом такой довольно сложный акробатический трюк идёт. Не буду вдаваться в подробности, это не так существенно, но репетировал я его почти три месяца. Пока не достиг гладкости и необходимой плавности движений. И вдруг – как столбняк какой-то напал. Нет, не подумайте, не мандраж. То есть, мандраж, конечно, случается, я пока не так часто выступаю, чтобы совсем без него обходиться. Думаю, если и много буду выступать, всё равно буду так же мандражировать. Ведь мандраж – это хорошо, это знак того, что предстоящее выступление для меня имеет большое значение, что я волнуюсь и хочу понравиться публике. Что я не закоснел ещё и не делаю свои номера автоматически. Вы как считаете?

– Не знаю, – сказал я. Денисов совсем-совсем заглушал музыку. – Я так особенно перед публикой не выступаю. Мне трудно судить поэтому. Но, полагаю, вы правы.

– Вот. Но мандраж – он идет до выступления. Пока не выйдешь на сцену, волнуешься жутко. Мучительно порой волнуешься. Руки-ноги ходуном ходят. А как только выйдешь, первые движения сделаешь, первые реплики скажешь, так всё сразу и проходит. А тут напало что-то. Захотелось как-то просто встать, неподвижно, и задуматься. О месте своём задуматься в жизни. О том, что я из себя на данный момент представляю. И, поверите, так бы и стоял, если бы не партнёр. Он так посмотрел на меня, с таким страданием. Понимаете, мы ведь в паре работаем, в одной связке, что ли. Если один номер заперет, то и второму его не вытащить. Поэтому чувство локтя – очень важная штука в моей профессии. И вот я увидел его взгляд, понял, что бы я там ни представлял из себя, а подвести партнёра я не имею права. Взял себя в руки и доработал номер.

– Бывает, да. Успех-то имели?

– Стыдно, вы подумаете, что я хвастаюсь, но имели. Много аплодировали. Много.

– Почему же стыдно? За своё искусство получать заслуженные аплодисменты – вполне достойное дело. И ничуть не стыдное.

– Я рад, что вы так считаете, – не исключаю, что я тоже жалостно смотрел на Денисова в этот момент, совсем как его партнёр, потому что он как-то встряхнулся и снова засветился лучезарной улыбкой.

– Конечно, я так считаю. Было бы странно считать по-другому. А вы, что же, придерживаетесь мнения, что можно выступать, радовать публику своим искусством и не получать – хотя бы – заслуженной благодарности?

– Дело в том, что я не знаю, как расценивать свои скромные способности, – модулировал Денисов. – Мне они всё время кажутся такими, достаточно скромными. Поэтому меня всё время удивляет, не перестаёт удивлять реакция публики, в целом, гораздо более положительная, чем можно было бы ожидать. Я искренне радуюсь, искренне, потому что это всегда так приятно.

– Станный вы юноша, – не менее искренне сказал я. – А зачем же вы тогда занимаетесь этим делом, если не за тем, чтобы нравиться публике? Ведь это естественное желание каждого, кто, в силу профессии ли, в силу природных ли склонностей характера, стремится к публичным выступлениям. И раз публика приходит на вас смотреть, то странно предполагать в ней такой некий мазохизм, что вот, дескать, сами смотрим, а самим так противно, так противно. Но смотрим. Но противно. Но смотрим всё равно. И хлопать будем.

– Ну да, пожалуй, я с вами соглашусь.

Мы помолчали ещё некоторое время. Я смотрел в окно на чернеющий снег, а Денисов зачем-то заглядывал мне через плечо.

– Кстати, – вкрадчиво спросил он, – вы не знаете, кто это поёт?

– К сожалению, нет.

– Я тоже не знаю. Красиво поют, правда?

– Чистая.

– Но от всего этого веет некоторой неестественностью, вы не находите?

Я, допустим, как раз и находил, но что я буду с каким-то малоизвестным мне Денисовым делиться своими находками. Вдруг он провокатор? Никогда, знаете ли, нельзя исключать возможности, что твой ближний – вовсе никакой даже нафиг и не ближний, а самый обыкновенный банальный провокатор. А уж тем более, какой Денисов мне ближний? Самый дальний из всех дальних. И улыбка у него подозрительная. Андроидная какая-то улыбка. В какое, интересно, место у него батарейка вставляется?

– Это что вы имеете в виду? – спросил я осторожно.

– Ну вот как-то, – Денисов помахал руками в воздухе, – как-то вот ну так. Вы с хозяйкой нашей давно знакомы?

– Как вам сказать... Около года что-то.

– А при каких обстоятельствах, если не секрет, вы с ней познакомились?

Почему-то я всё время ждал, что Денисов начнет изъясняться ещё более куртуазно, вот, например, последний вопрос я за него мысленно переформулировал как «изволили познакомиться». Вот такого чего-то от него ожидалось.

– Обстоятельствах? – я перенял эту привычку, перенял, да, переспрашивать последнее слово, думая над ответом. И слово «да» вставляемое не к месту в качестве вводного слова, тоже перенял. Я подражатель. Я имитатор, если честно. Мне удивительно, что до сих пор никто этого не понимает. – Обстоятельствах? Вы знаете, я уже точно не помню, но, по всей видимости, обстоятельства эти были самыми что ни на есть прозаическими. Никакого драматизма, насколько я могу припомнить.

– Вот это и странно. Я тоже знаю нашу хозяйку с самой бытовой и прозаической стороны. Никаких монструозных поступков я тоже за ней не замечал. Но – знаете ли – многие люди говорили мне о какой-то драматической жизни, о её вакханально-трагедийном прошлом.

– Я тоже что-то такое слышал, но больше от неё самой, как бы между делом. Это свойственно многим женщинам, – предположил я, – напускать на себя роковые маски, особенно ежели в реальной жизни этой роковизны ощутимо не хватает.

– То есть вы считаете, – блеснул зубами Денисов, – что Терпсихора выдумывает эти свои романтические похождения сама? Просто для придания своему образу этакого флёра?

– Вот именно, вот именно флёра. Но – учтите, это исключительно моё личное мнение. Я вполне могу ошибаться. Возможно, она действительно служила сестрой милосердия на полях севастопольской битвы.

– Она и такое про себя говорила???

– Нет, это я утрирую, конечно.

И снова – в моей жизни, как и в настоящих записках (хотя они совсем пресовсем не о ней), слишком многое подчинено нефункциональной красоте, так называемому «красному словцу» – и опять-таки меня удивляет, что окружающие меня люди этого не видят и не замечают. Я пустышка, красивый пшик на воде. Вот именно поэтому я и решил не говорить тут слишком много о себе. Вдруг мы с вами когда-нибудь встретимся, и вы меня разоблачите, к примеру, перед дамой, внимания которой я буду в тот момент добиваться? Ужас, ужас...

И, кстати, поэтому же тоже – я постоянно пренебрегаю своим же собственным зарокom. Я не держу слов. Слова для меня – материал. Я не отно-

шусь к ним серьёзно сам, но требую этого серьёзного отношения от других. И меня удивляет – меня слишком многое удивляет. Вот зачем я сказал этому китайскому болванчику про севастопольскую битву?

– То есть, по-вашему, – продолжал беседовать Денисов, – роковых женщин не существует вовсе?

– Нет, отчего же. Существуют. Только они не афишируют, я полагаю, это своё качество на каждом углу. Не заламывают руки и не кричат о том, что «никому в жизни я не приношу счастья». Но это снова только моё личное мнение. Как вы считаете?

– Лично я?

– Лично вы.

– Я не знаю, до разговора с вами хозяйка нашего сегодняшнего вечера представлялась мне дамой вполне такой, если не роковой, но приближающейся к этому состоянию, а теперь я уже даже вообще не знаю, что и думать.

– То есть, вы сейчас просто тупо попали под моё влияние? – спросил я, и мне было лестно.

– Ну согласитесь, каждый человек подвержен влиянию других людей, которые его окружают. Это с одной стороны. А с другой, он же неизбежно оказывает своё влияние на некоторых людей, с которыми вступает в бытовые контакты. Просто по закону обратной силы.

– Вы сейчас очень изящно выразились, про бытовые контакты, – сказал я. И не стал говорить о том, что никогда в жизни не слышал о законе обратной силы, но мало ли, вдруг такой на самом деле есть, а я придержусь скептическим образом, и покажу своё невежество. Это вообще бич современного человека – обилие информации и всяческая терминология. Постоянно хочется показать себя более знающим, чем ты есть на самом деле – и часто можно поймать себя на том, что ты сидишь в окружении неожиданных людей и киваешь головой на вопрос «а знаешь ли ты» вот эдакого субъекта или вот такое течение в современной криминалистике – или какой-нибудь, господи спаси, драмэндбейс. Просто потому что не хочешь показаться бессмысленным простаком – хотя чего тут, казалось бы, такого? Ну, не знаю я ваш драмэндбейс, а вы, допустим, ни фиги не слышали про недавно усопшего Жака Деррида – и неизвестно ещё, кто из нас круче. Хотя дело и не в крутизне. Это я сейчас так говорю, в минуту досуга и хладного размышления – а в пылу беседы вопросы о крутизне наверняка крутятся и у меня в голове тоже. Всё же, знаете ли, все мы дети. Малые и сопливые.

– Вам правда понравилось? – просиял Денисов.

– Изысканно. Правда.

– А знаете что? – и Денисов вдруг сменил тон на какой-то заговорщический. – А давайте уйдём отсюда?

– В смысле? – не понял я.

– Ну, пойдёмте, посидим где-нибудь, вдвоём, никому не скажемся.

Выражение «не скажемся» было не в пример изысканнее «бытовых контактов», о чем я не преминул сообщить Денисову, всё ещё не осознавая до конца, к чему он клонит.

– Спасибо, – поблагодарил он. – Я же не предлагаю ничего крамольного, совершенно ничего. Мне приятно с вами общаться, нравится, сразу можно в вас разглядеть человека недюжинного ума и парадоксальных суждений. Я очень уважаю людей парадоксальных суждений. Я, можно сказать, стремлюсь с ними знакомиться. Мне и хозяйка наша сегодняшняя вас рекомендовала, как человека парадоксальных, зачастую, гротесково-парадоксальных суждений. Я очень хотел с вами познакомиться. И вот теперь, когда познакомился, мне хочется развить наше знакомство. Они там увлеклись своими разговорами, которые я, признаться, тоже не очень понимаю и принимаю. Они не заметят, ей-богу, как мы уйдём. Сколько раз так бывало. Программа вечера себя исчерпала, начались узкоспециализированные беседы. Вам интересно разговаривать о карме?

– Ну, – помялся я, – вообще-то, не слишком.

– Вот! – приглушенно крикнул Денисов. – Вот! И я такого же мнения. А мы сейчас с вами пойдём, в какое-нибудь интересное заведение, сядем, может быть, даже что-нибудь выпьем – и продолжим наше интересное общение. Разумеется, если вы не против.

– А можно всё тоже самое, но без выпивки, – я уже как-то говорил, что люблю ритуальную сторону жизни? Портить неожиданной выпивкой вечер, запланированный трезвым, казалось мне кощунством.

– Можно, – Денисов, по моим ощущениям, обрадовался ещё больше. – Просто наша сегодняшняя хозяйка характеризовала вас как человека, склонного к выпиванию алкогольных напитков. Я не осуждаю, ни в коем случае, просто тем самым парадоксальность вашей личности становится ещё более выпуклой.

Кому же, позвольте поинтересоваться, не будет приятно, когда его столь много раз назовут парадоксальной, да ещё к тому же и выпуклой личностью? Вот и мне было приятно. И я пошёл с Денисовым, как он и предлагал, не сказавшись остальным собравшимся, тихо облачившись в обувь с верхней одеждой. По всем канонам галантности, поступили мы с Денисовым гнусовато, тем более, что дверь, кажется, оставили открытой. Вдруг бы воры пришли. Там, главное, сидят люди и дискутируют о божественном, а тут – бац – воры какие-нибудь, да ещё с монтировкой, допустим. Или не с монтировкой, с кастетами или дубинками резиновыми. Или с ножами, а то и, мало ли, с огнестрельным оружием. И ведь не переубедишь их в бессмысленности совершаемых ими поступков. Человек, движимый жадной наживы – или прочей какой-либо жадной, как правило, глух к голосам разума. Ну, да это всё банальные вещи я тут говорю. Дальше было вот что. Вышли

мы, значит, с Денисовым из подъезда, отошли подальше, встали на улице и растерялись. Я не помню, почему растерялся, а Денисов растерялся потому, что, как он тут же и сказал, куда конкретно идти, он совершенно себе не представляет.

– Вот смешно получается, да? – спросил он. – Я вас позвал, и выходит, что позвал вас неизвестно куда.

– Выходит, так, – согласился я. – Давайте тогда вместе решать, куда пойдёмся.

– Вы какого рода заведения предпочитаете? – осторожно спросил Денисов. Я задумался. А правда, какого рода заведения я предпочитаю? Я посещаю периодически разнообразные заведения, самого разного рода, но как-то в пристрастиях своих неопределённо-сдержан. Мне вообще-то нравятся заведения где вкусно кормят, но это когда у меня есть свободные деньги. Когда у меня есть много свободных денег, мне даже нравятся заведения, где очень хорошо и необычно кормят. Иногда мне нравятся заведения, где танцуют полураздетые женщины. Иногда, напротив, такого рода заведения меня раздражают невероятно. Вопрос, который задал мне Денисов, оказался невероятно сложным для меня в тот момент моей жизни.

– Я люблю дешёвые заведения, – суммировал я совокупность качеств, пришедших мне в голову.

– Это очень хорошо. Тогда я предлагаю вам пойти для начала пить чай. Тут недалеко есть отменная чайная, где готовят различные наивкуснейшие чаи. Там работает мой хороший приятель, он мне рекомендовал это заведение. И правда, чаи там действительно на любой вкус, довольно дешёво и экзотично. Это если вы по-прежнему не хотите алкоголя, – осторожно уточнил Денисов.

На улице, как я заметил, он перестал улыбаться с прежней широтой. Нельзя сказать, что было сильно холодно – то есть, исчезновение его улыбки имело под собой какие-то другие, не определяемые с такой лёгкостью, основания. Возможно, ему, как и мне, было стыдно за наш странный уход.

Мы пошли в чайную, потому что алкоголя я по-прежнему не хотел. Мы стали пить чай и беседовать. Беседовал, по большей части, Денисов, а я его слушал. Не очень помню, о чём он говорил, потому что большую часть его реплик я пропускал мимо ушей, занимаясь рассматриванием интерьера чайной и официанток. Мне вообще нравится смотреть на официанток в заведениях общественного питания, не в сексуальном там каком-нибудь смысле или что-то, а просто. Какие они, как правило, ладные, быстро снующие и профессионально улыбающиеся. Ну, это, если, разумеется, заведение общепита качественное. Есть что-то общее между хорошими официантками, хорошими продавщицами и вообще всеми хорошими работниками сферы обслуживания. Когда они общаются с тобой, создаётся такое ощущение, что их глав-

нейшая задача на настоящий момент – это угодить тебе, доставить тебе удовольствие, соблазнить тебя товаром. Это приятно и это действует. Причём, как бы я там не отрещивался, всё равно, в своей основе, эффект этот имеет сексуальный подтекст. Ну да ладно – что-то я совсем ухожу в сторону.

– Вам тут нравится? – спросил Денисов у меня, когда я очнулся, наконец, от блаженного созерцания спящих девочек в передничках и попытался сосредоточиться на его разговоре со мной.

– Мило, – сказал я.

– И недорого, правда?

– А вы знаете, я что-то не обратил внимание на цены в меню. Мы же, в конце концов, не заказывали ничего глобального, а чай – я так полагаю, везде недорого.

– В общем, наверное, да. Но поверьте мне, это недорогое место с хорошей кухней, – настаивал Денисов.

– Да я верю. Она, кухня, то есть, какая-то особенная здесь, нет? Там, вегетарианская или ведическая какая-нибудь, нет?

– Почему вы так думаете?

– Ну, разве духовные люди, вроде нас с вами, могут питаться обычной земной прозаической пищей?

– Иронизируете, – с подозрением посмотрел на меня Денисов. – Нет, самая обыкновенная чайная. Мне именно тут нравится тем, что она не чайная в старом советском смысле слова, где под этим словом подразумевались различные рюмочные и распивочные, а именно соответствием названия внутреннему содержанию. Именно чаи составляют фирменную фишку этого заведения. Тут подают какое-то огромное количество сортов, я никогда не считал, но, правда, колоссальное количество.

– И, конечно, вы предпочитаете зелёный чай? – что-то у меня как-то испортилось настроение.

– Да нет, я чёрный больше люблю.

– Но зелёный же моднее, – вероятно, это из-за того, что так я и не выяснил, что за женщины пели сладкими голосами из звуковоспроизводящего устройства на кухне Терпсихоры.

Вот так часто бывает, втемяшится в голову какая-нибудь загадка-незагадка, а просто навязчивый вопрос, и совершенно невозможно адекватно мыслить и вести себя, пока не получишь на него ответа.

– Ну и что, – Денисов снова лучезарно улыбнулся. Видимо, эта функция автоматически включалась у него в помещении.

– Вот такой я немодный. Люблю чёрный чай. И ещё мясо люблю. Вы не поверите, очень люблю мясо.

– Очаровательно, – очаровался я.

– А вы вообще где больше любите находиться? В том смысле, что проводить своё свободное время? Ну, я имею в виду, вы любите больше посещать

какие-то заведения общепита или же что другое? Может быть, вы предпочитаете ночные клубы?

– Нет, ночные клубы я как-то совсем не предпочитаю, – мне казалось, что происходит что-то совсем странное. Зачем это он приглашает меня в ночной клуб? Я совершенно не хочу в ночной клуб, логика поведения Денисова совсем мне не давалась. Что он от меня хочет?

– А что вы любите делать? Где вы любите находиться, когда у вас есть свободное время?

– Я люблю дома находиться с людьми, которые мне приятны. Или в гости люблю ходить к людям, которые мне приятны.

– Я почему-то так и думал, – обрадовался Денисов и заулыбался лучезарнее прежнего. – Я вот что ещё думаю – тут недалеко живёт моя сестра, может быть, мы пойдем к ней в гости? Потому что чайная – это, конечно, хорошо, но, в конце концов, они тут хотят денег за наше общество. А я считаю, это не совсем правильно. Приятное общество должно быть, как минимум, бесплатно.

– Но мы же только что ушли из гостей, – не сдавался я. Мне вся эта ситуация начинала слегка уже надоедать, все эти странные недомолвки Денисова, его неприятные лучезарные улыбки, загадочно-маниакальное желание моего общества.

– Мы ушли из одних гостей – и придём в другие. Это ведь интересно? Правда? Это трип, – улыбался Денисов.

– Вы знаете, я как-то к трипам настороженно отношусь с некоторых пор, – сказал я.

– Но моя сестра будет рада с вами познакомиться, я вам гарантирую.

С какой такой стати он так решил? Меня загадки вообще нервируют, поэтому я начинал ощутимо выходить из себя. Не в том смысле, что злиться начинал, а именно как-то нервничать, не находить себе места и применения в этом вечере. Я, наконец, захотел домой, куда ещё полчаса назад не представлял себе, как я приду. Я люблю свой дом, ничего не хочу сказать, но иногда нет ни малейшего желания туда возвращаться. По совершенно простым причинам – о которых молчу.

– К тому же сестра моя – удивительно красивая девушка, она вам понравится, – агитировал Денисов. – Красивая и одухотворённая.

– Это как?

– Такая, знаете, не пустая современная барышня с серёжкой в пупе, а думающая и развитая девушка. Она старше меня на два года, – добавил Денисов в качестве решающего аргумента.

Естественно, в конце концов, я дал себя уговорить. Не из-за гипотетической красоты загадочной сестры и не из-за трипа, как упорно продолжал Денисов именовать наше невинное трезвое приключение, а исключительно

из чувства необходимости завершить начатое. И так случилось, что часу уже глубоко в одиннадцатом мы заявили в гости к его сестре. Сестра, действительно, оказалась красавицей, Денисов не соврал. И на столе красовался томик Борхеса – наглядная характеристика думающей девушки без серёжки в пупе. Хотя я, допустим, знаю некоторых девушек и с серёжками в пупе, которые Борхеса любят не меньше, а то и больше денисовской сестры – но это неважно. Сестру звали отвратительным именем Галина и она тут же стала поить нас чаем. Очевидно, они решили устроить мне чайную бомбу, по аналогии с витаминной, о которой шла какая-то речь у Терпсихоры.

Сестра Денисова стала говорить со мной о кино. Не знаю, то ли она умела предвидеть будущее, то ли просто ей показалось, что именно эта тема для разговоров подойдёт для такого дёрганого молодого человека, как я, но заговорила она с недоужинным энтузиазмом. Имена и фамилии забили из неё ключом. Всевозможные Вонг Карваи, Паркчонвуки, я еле-еле успевал отбиваться. Причём она, по всей видимости, изрядно была на это самое кино подсажена, потому что она цитировала фильмы до дословности, приводила мне в доказательство гениальности того или иного режиссёра целые сцены из их картин, взяла меня в серьёзный оборот. Получился один из таких детско-юношеских разговоров по понятиям, когда факт незнания тобой полной фильмографии обозначенного Паркчонвука считается позорным и ты немедленно перестаёшь считаться за умного человека и достойного собеседника. Лучше бы я не вязывался, потому что «плавать» я стал уже где-то на десятой минуте нашего разговора. Денисов умильно улыбался и впитывал наш разговор, как впитывал бы его энергетический вампир, питающийся исключительно вербальными выжимками окружающих. Сколько раз давал себе зарок не врать в подобных разговорах, в том смысле, что, если я чего-то не знаю, то прямо говорить об этом. Кстати, очень действенный метод. По крайней мере, самоуважения очень и очень прибавляет. Вот они к тебе лезут с Паркчонвуками, а ты им холодно бросаешь: «А кто это такой?» И сразу какая-то иная работа мысли отражается на их лице, поиски объяснений, кого же, блин это, брат привел за идиота такого, который Паркчонвука не знает. Но в который уже раз я сам же и нарушал свой же зарок. Нет, я не признавался Галине (отвратительное имя для девушки, повторюсь) в том, что не смотрел фильмы любимых ею азиатов, а только слышал о них от аналогичных продвинутых киноманш, я спасительно и глубокомысленно кивал головой, поддакивая ей в самых напряжённых местах с максимально вдумчивым видом. Денисов сиял, Галина распалаялась всё больше и подливала чаю. От теории мы достаточно быстро перешли к практике, Галина потащила нас к телевизору смотреть что-то новое, мегахитовое – в её понимании этого слова. Я, откровенно говоря, не очень люблю смотреть кино вот так, спонтанно, без подготовки, да ещё в компании лучезарно улыбающихся юношей и девушек, напряжённо смотрящих в экран и восторгающихся какой-то там постановкой

кадра и цветовой гаммой фильма. Тем более, меня уже несколько клонило в сон – от их чая, вероятно. Поэтому кино я помню смутно, какая-то кровавая была история, кто-то кому-то что-то там отрезал, и отрезанный потом весь фильм гонялся за отрезавшим, чтобы отомстить ему и отрезать абсолютно то же самое, восстановив тем самым историческую справедливость. Такая вот скупая восточная философия.

Слава богу, фильм не пришлось обсуждать. Если честно, я жутко этого боялся, что вот сейчас меня попросят высказать аргументированное суждение об увиденном и подкрепить его цитатами из Лао Цзы и Виктора Пелевина. Нет. Мы все втроём глубококомысленно помолчали на титрах. Галина восторженно, я – пытаюсь отогнать от себя сонливость, Денисов – лучезарно улыбаясь. Дальше произошло странное. Денисов пошел вроде бы в туалет, не то руки помыть, и как-то оттуда не вернулся. Может, я опять заснул, не знаю, но мне показалось, что буквально через две минуты после его ухода в комнату неизвестно откуда пришла Галина и сообщила, что Миша ушёл домой. Он, оказывается, ещё и Миша.

– Как это? – не понял я. – А я?

– А ты – оставайся. Он живёт тут рядом, ему пешком два шага. А тебе ехать, наверное, далеко.

– Ну, мне, конечно, ехать и правда неблизко, но как-то, ну... Мы в первый раз видимся и ты уже оставляешь меня ночевать. Может быть, я старомоден, конечно, но как-то что-то тут у меня не вяжется.

– Стой-стой-стой, – заулыбалась Галина, впервые напомнив мне своего брата. – Это разве старомодность? Это что-то совершенно ей противоположное. Я же не говорю, что ты будешь ночевать со мной в одной кровати, и не ташу тебя спать со мной. Просто я подумала, что это, как это... закон простой вежливости. Чтобы гость не тратил деньги на такси. Нет? Я что-то не так понимаю?

– Ну, – я замялся совсем. Мне казалось (возможно, я тоже предвидел будущее в тот момент, на это способны все, абсолютно все люди в редкие минуты прозрения), что меня намеренно поймали в какую-то хитроумную ловушку, тщательно спланированную братом и сестрой на семейном совете. Но цель? Зачем им это? Зачем им я? Этого было не понять. Не в том даже смысле, что этого не мог понять именно я в той ситуации, а этого было просто не понять, даже если объективно взирать на это дело. Может, они дождутся, пока я засну и выпьют мою энергию? Мою жизненную силу? Мой мозг, наконец? Но, поскольку всяческий оккультизм не вызывал у меня какого бы то ни было восторга, я эту версию отбросил достаточно быстро, хотя и не без внутреннего такого зашоривания. Вроде того, что этого быть не может, потому что не может. Словом, я растерялся.

– Не, я, наверное, поеду всё же, – неуверенно сказал я.

– Да брось ты ломаться. Живёшь ведь один, должно быть?
– Один. А ты откуда знаешь?
– Брат сказал. Он справки о тебе наводил, а зачем это ему – не спрашивай, не знаю.

Мысли о ловушке снова забегали в моей голове. Уж слишком всё было похоже на последние кадры из жизни второстепенного персонажа из второстепенного же американского фильма ужасов. Но правда – зачем им моя маленькая жизнь? А если не жизнь – то что? Ничего другого ценного у меня вроде бы как и не было. Ну, или я об этом не знал. Ага, подумалось мне, это как в сказках, когда злая колдунья помогала какому-то заплутавшему королю выбраться из его заплутания при условии, что он ей подарит то у себя дома, о чём ещё не знает. Наваждение какое-то.

– Вот. И я одна, – продолжала Галина. – Знаю, как одному бывает вечером. А вдвоём веселее.

Теперь я подумал о том, что когда мне будет лет семьдесят и я буду жениться очередным каким-то там браком на шестидесятипятилетней старушке, то именно такими словами и буду к ней свататься.

– Да мне нормально, – сказал я. – И днём нормально, и вечером. Вообще неплохо мне.

– Но вдвоём-то всё равно веселее.

А может быть, это не во мне дело? Может, это как раз у неё что-то случилось, и она предпринимает все усилия, чтобы не оставаться на ночь одна. А то вдруг она от одиночества руки на себя будет пытаться наложить? Такая романтическая формулировка меня не могла не устроить – к тому же можно было проявить такое скупое рыцарство. И я дал себя уговорить.

– А что мы делать будем? – спросил я для ориентировки.

– Не знаю, – улыбнулась Галина. – Чай пить, кино смотреть.

Просто, по-видимому, девушка не знала других занятий. Ну ладно, чай так чай, мне уже было всё равно, я преисполнился сознанием необходимости выполнить свой гражданский долг, провести эту ночь на посту. И да, мы снова пили чай. Я как мог разнообразил свою жизнь только тем, что перепробовал все сорта чая, которые были у Галины в квартире, за исключением чая из ромашки, который ну никак я не мог заставить себя проглотить, несмотря на его очевидную полезность для организма и вообще. За чаем Галина немного порасспрашивала меня о моей работе, о том, почему я живу один, о том, что я думаю о её брате и давно ли его знаю. Честно я не ответил ни на один из её вопросов. Она, вроде бы, осталась довольна. Я сидел так, что не

мог со своего места видеть часов. А с наручными часами у меня такая беда происходит, причём традиционно, что они на мне ломаются. Вот аура, что ли, такая, не то биополе какое-то вредное. Не выдерживают на мне наручные часы. Хоть какие покупай – итог один. Ни электронные, ни кварцевые, ни простые механические не явились исключением из правил. И в итоге я забил и перестал носить часы на руке вовсе. Тем более, одна знакомая сказала мне, что это теперь неактуально. Мол, все давно смотрят время на своих мобильных телефонах. Вот и я так делаю, но не потому, что так актуальнее, а просто – ну не буду я пока покупать себе наручные часы. Дорогое в моём случае удовольствие получается. Итак, я к чему это всё – к тому, что время-то ощутимо шло в сторону ночи, а я совсем не мог сказать, сколько его конкретно уже набежало. Потому что телефон я оставил в куртке в прихожей, а не скажешь ведь, что я должен сходить посмотреть, который час. То есть, и можно, наверно, даже, но, если бы я принёс телефон в кухню, где мы пили многочисленные чаи или в комнату, то я бы, честное слово, глазел бы на него каждые пять минут. Как-то тяготила меня ситуация, напрягала и мучила. Ничего нельзя было поделаться. И спать не хотелось. Видимо, я выспался во время Паркчонвука.

– Ну что? Может, ты есть хочешь? – спросила Галина очень вовремя после чая.

– Не, спасибо, – вежливо ответил я. – Не хочу, во-первых, а во-вторых, на ночь вредно наедаться. Да и тебя беспокоить не хочу.

– Да не, если хочешь, я быстро шас что-нибудь разогрею, – предлагала Галина.

– Правда, не хочу, – врал я.

– Ну, тогда давай ещё кино какое-нибудь посмотрим, и спать. Ага? – предложила Галина альтернативный вариант.

– Ага, – согласился я. – А что смотреть будем?

– Сейчас выберу что-нибудь, – сказала Галина. – У меня большая фильмотека.

Мы прошли в комнату, Галина открыла какой-то шкаф, который был задуман дизайнерами мебели явно как бар, но существовал сейчас в другой функции. Шкафчик был уставлен кассетами и DVD. Чего тут только не было – мне даже с места было видно, я туда не подходил, предпочтя занять круговую оборону в облюбованном уже кресле. И простой американский ширпотреб, и образцы высокого европейского авангарда, и все мыслимые паркчонвуки нашей планеты. Но выбор Галины удивил меня – и даже напугал.

– Ночь на дворе, – сказала она.

– Ну да, – согласился я.

– Самое время посмотреть порнуху.

– Что? – я не понимал, что происходит всё больше и больше и мои ощущения человека, загнанного в ловушку, усиливались. – В каком смысле?

– В самом прямом. Я считаю, что это не оценённая с эстетической точки зрения часть мирового кинематографа. Если вдуматься, там можно найти очень много всего, что туда закладывают авторы. То есть, они даже и не подозревают, возможно, но, как люди, бесспорно, интеллектуальные, вкладывают этот второй, а то и третий смысл подсознательно.

– Но постой, – я как-то тупо стал с ней разговаривать, наверняка даже аналогично тупо улыбаясь, – постой, ты ведь сама буквально только что говорила, что ночевать – это просто ночевать, что это не то же самое, и так далее. Стыдила даже меня.

– Так я от своих слов и не отказываюсь, – при этом Галина извлекла из кучи кассет какую-то предельно глянцевою, с умопомрачительными голыми бабами, на которых я старался не смотреть, из вежливости, и хладнокровно ставила её в видеомэгнитофон.

– И теперь вдруг – порнуха.

– Подожди, а что, совместный просмотр порнографического фильма нас к чему-то обязывает?

– Нет, – промямлил я. – Нет, конечно, но всё же. Могут возникнуть разные мысли...

– Лично у меня ничего не возникнет, – сказала Галина. – Тебя же не удивляют люди, которые любят трэшевые фильмы ужасов?

– Нет, наверно, нет.

– А порнография – это верх трэшевого кинематографа. Я просто пошла ещё чуть дальше. Впрочем, если тебе неинтересно, я могу выбрать что-нибудь другое.

– Да нет, чего уж, – я попытался состроить предельно равнодушную физиономию. – Раз ты так решила, то ставь, конечно.

И вот мы сидели в двух чёрных креслах и смотрели это... кино. Галина принесла откуда-то пачку солёных орешков, так что могла сложиться полнейшая иллюзия идиллической влюблённой парочки, которая под поп-корн наблюдает в кинотеатре за приключениями каких-нибудь очередных полуросликов, попискивая в душе от восторга, но не выдавая этого окружающим – потому что это общественное место. Я совсем не знал, что делать. И отвернуться мне хотелось от этого экрана, и в то же время никак не получалось. А потом очень интересно было, какой окажется реакция на этот фильм у гостеприимной хозяйки. Ничего, сидела, трескала орешки, с такой же точно задумчивостью, с которой наблюдала Паркчонвука несколькими часами ранее. Порнуха-то, конечно, оказалась не простой, а концептуальной. Действительно, авторы фильма видимо были либо прожжёнными интеллектуалами, либо просто обкуримшись. В особенно жаркие моменты главная героиня вдруг начинала истерично цитировать Дилана Томаса. А после

нагишом бросалась к фортепианам и наяривала что-то, не то из Шопена, не то из какого-нибудь Малера, я не разбираюсь. То есть, ну – сразу после. То есть, ну, это... Ну, не знаю даже, как сказать. Ну, с каплями, которые с неё капали на эти самые фортепианы. Видимо, в этом и была фишка данного произведения искусства.

Собственно, что сказать? Просмотр прошел тихо, без эксцессов. Я сидел тише воды ниже травы, старался вовсе не дышать – и оттого периодически выпускал из себя надолго задержанный воздух с неприятным шумом, как бы с заглушенным стоном. Галина периодически на меня косилась и один раз даже встала и чуть отодвинула своё кресло от моего. Да! Самое интересное, что фильм был с переводом – и дотошные переводчики переводили всё совершенно дословно, ничуть не смягчая девичью по большей части лексику персонажей. То есть, смотрелось это всё достаточно фантазмагорически. Ближе к концу фильма я вдруг подумал о том, что, для завершения и полноты картины, где-нибудь за стенкой должен прятаться Денисов и напряженно наблюдать за тем, как мы с его сестрой смотрим этот фильм. Это я, да, анекдот вспомнил. Но анекдот, знаете ли анекдотом, а в жизни такая ситуация кажется мне жутковатой, монструозной даже чем-то.

Посмотрели фильм. Потом Галина отвела меня в мою комнату, то есть, в ту, где я должен был спать, выдала постельное бельё, даже мало того, что выдала, постелила мне на маленьком диванчике, пожелала спокойной ночи, приветливо улыбнувшись – и ушла куда-то к себе. Утром я проснулся рано-рано, пока хозяйка ещё спала, незаметно оделся, мышкой выскользнул из квартиры и практически бегом помчался домой. Не то, чтобы я был как-то напуган или что. Просто мне показалось, что именно это я должен сделать. Больше с Денисовым и его сестрой в жизни я никогда не встречался. Причем отчасти даже намеренно. Я приложил к этому все усилия.

А ночью в квартире Галины я лежал, так же почти не дыша, и думал о том, что, на самом деле, должен быть кто-то ещё, кто стоит в более отдалённой каморке и с понимающей улыбкой наблюдает за Денисовым. Который наблюдает за мной и своей сестрой, которые наблюдают за теми, в телевизоре. А может быть, и тот, с улыбкой, не последний в ряду этих наблюдателей.

Итак, вот что я хочу сказать. Даже не совсем так. Я ничего не хочу сказать, я только хочу показать, нарисовать несколько картин, набросков, даже скорее, запечатлеть атмосферу того, что происходило в трёх разных квартирах в три разных дня одного и того же года. Наброски – потому что вот мне сегодня сказали, что у меня никогда не бывает описаний внешности людей. И особенно напирали на тембр голоса. Дескать, почему, сволочь, не указываешь тембр голоса описываемых? Как же мы, мол, можем их себе представить и аудиовизуализировать? А я что хочу сказать? Я хочу сказать, что аудиовизуализируйте вы их, как хотите. И если хотите. Если у вас, к примеру, вообще не возникает никакой потребности в аудиовизуализации – бог с вами, я только рад буду за вас. Если, наоборот, возникает – пожалуйста, я не против, можете даже потом поделиться картинками. Допустим, как я выгляжу, как вы думаете? Я рыжий – или, наоборот, высокий накачанный брюнет с умопомрачительной татуировкой на причинном месте? Брюнеты не рефлексируют? Возможно, возможно, возможно, вы правы. Хотя вот Кафку, например, взять. Не того, который на пляже в модной японской книжке, а классического Кафку, Франца, который. Ведь брюнет же, собака? Брюнет, факт. А изрефлексировался так, что пол-Европы под монастырь подвёл. И насчет татуировок тоже не факт, между прочим. Вообще не факт. Так что – каким вы меня представляете, такой я и есть. Мир вообще так устроен. Разных можно почитать мыслителей, все они рано или поздно приходят к этому выводу. Вот и дети – не в пример умнее взрослых, это аксиома, согласитесь. И вот, и закрывают лицо ладошками – и считают, что их не видно. А ведь не видно, если вдуматься. Только наоборот. Мира нет, если глаза закрыть. Чувак с закрытыми глазами есть, потому что вы напротив сидите и осуждающе смотрите на него, хули он храпит в общественном транспорте. А у него нет общественного транспорта. И храпа нет. И вас с вашим осуждением нет.

Так что я описываю мир, каким он есть у меня. А вы там с выводами – сами как-нибудь. О мире, обо мне, о себе. О себе – я настаиваю – о себе – обязательно. Я-то ладно, со мной всё понятно. Не хотел вообще о себе писать, но разве тут удержишься. Ну, извините, недолго осталось. Одна картина, фактически, завершающая. Я же всё равно хитрый тип, жук, можно сказать, вспоминая всё того же рефлексёра Кафку. Я вроде про себя говорю что-то, а на деле, главного-то не говорю, и не скажу никогда. Потому что так устроено – главное никогда нельзя говорить. Вот главное в этих трёх картинах и заключается. Две из них уже были представлены, пора переходить к третьей.

Сцена третья, стало быть, происходила у меня дома. Я же говорю, повествование это, на самом-то деле, очень даже классицистическое. Не совсем единство места, но максимально близко к тому, учитывая инкубаторность социалистической архитектуры. Не совсем единство времени, но максимально близко к тому, потому что все эти события произошли в пределах одного календарного года. Если, конечно, их можно назвать событиями. Не совсем единство действия, потому что я не уверен, можно ли всё это назвать действием. Но максимально, по-моему, близко к тому, поскольку люди во всех трёх сценах занимаются одним и тем же. Едят, пьют и разговаривают. Разговаривают больше, чем едят или пьют. И в этом суть.

Наверное, мне нужно описать мою квартиру. Я, вроде, две других как-то описывал. Квартира у меня самая обыкновенная. Самая обыкновенная. Комнаты у меня две, самые обыкновенные. Мебель там, диван. Столов несколько. Стульев. Мало стульев, надо сказать, всё время, когда приходит много народу, их катастрофически начинает не хватать. Не сказать, что много народу приходит часто, но иногда случается. И сразу вот как назло – начинает не хватать стульев. Не помню, как мы обходимся. Но факт, у соседей не одалживаем. Довольно странно было бы переться к соседям и одалживать у них стулья. Типа, моим гостям сидеть не на чём. Хотя и логично, казалось бы. Но я так не делаю. Я, как-то не в таких отношениях с соседями. Неважно. Итак, стульев, значит, вечно не хватает. Лампы ещё какие-то есть. Они освещение дают. Свет несут в квартиру. Впрочем, в описанной сцене так случилось, все мы сидели на полу. Точнее, на ковре. Ковёр у меня тоже обыкновенный. Такой, знаете... Вот есть мохнатые такие ковры, их пылесосить очень трудно, мусор между ворсинками забивается и никак его оттуда не выплесосить, не достать, он цепляется. Так вот мой ковёр – прямая им противоположность. Почти вообще без ворса, гладкий. Очень легко пылесосить. А пылесосить приходится часто. Особенно после того, как кто-нибудь посидит на полу. Они посидят – и почему-то непременно становится грязно. Хотя ничего такого они и не делают, казалось бы. Но такая история всё время происходит. Сам ковёр такого зеленоватого, абсентного цвета. Я не выбирал, он был там до меня. Я не стал его менять. Ковры для меня не символичны. Для меня мало что символично, и ковры не относятся к счастливым исключениям.

Ладно. Надеюсь, можно составить представление о моей квартире по такому описанию. Теперь к людям, которые сидели на ковре. Во-первых, это опять же я. Я у себя дома чувствую себя, как и положено человеку чувствовать себя у себя дома, то есть, совсем не так, как в гостях. Не сказать, что лучше или уверенней, а как-то иначе, по-другому совсем-совсем. Вот я и сидел на ковре, прислонясь к стене. Чуть ли даже не сам и предложил всем сесть на ковёр. Возможно. А может, и не я предложил, но я, в любом случае, не был против. Хоть и знал, что потом неизбежно придётся пылесосить. Но это издержки, у

каждого дела есть свои издержки, тут ничего не поделаешь, приходится смиряться. Дальше сидели ещё три человека, кроме меня. Компания была небольшая, стульев в этот раз вполне хватило бы, но мы предпочли сесть на ковер. В силу каких обстоятельств предпочли, я и не упомяну сейчас. В этой третьей сцене есть много такого, чего я в настоящий момент не могу вспомнить. По прошествии времени, то есть. Это подтверждает теорию о том, что страшные и неприятные воспоминания имеют тенденцию изглаживаться из нашей памяти, а оставаться имеют тенденцию воспоминания приятные и сладостные.

Три других человека были: Ипатов, загадочный Фогельсон и иностранная девушка Сабина. Ипатова я знал достаточно хорошо и достаточно регулярно с ним общался. Или, скорее, думал, что хорошо знал его. Загадочного Фогельсона я знал очень плохо, и общался с ним – как раз в меру его загадочности – нерегулярно, но с бешеной нерегулярной интенсивностью. То есть он имел тенденцию пропадать где-то в своих загадочных мирах по полгода, скажем, а потом объявлялся и призывал окружающих интенсивно с собой общаться. Интенсивное общение проходило зачастую несколько суток напролёт, после чего все, измотанные, расходились по домам, а загадочный Фогельсон снова пропадал на полгода в подпространстве. Откуда мы надыбали иностранную девушку, я тоже не помню. Где-то мы с ней познакомились, факт. Притом, мы её сняли – то есть, нет, что это я. Как раз мы её не снимали. Мы не питали в её адрес никаких нечестных намерений. И честных тоже не питали, надо признаться. Она была чья-то подруга, что ли. Вот такая, дней его суровых. Возможно даже, что моя. Не помню – совсем не помню. Куда она делась потом, тоже не помню, что неудивительно, учитывая окончание третьей сцены, до которого я ещё дойду. Иностранная девушка Сабина понимала по-русски, плохо, вероятно, но как-то и что-то понимала. Поэтому она сидела на ковре и внимала нашим запредельным беседам, переводя голову с одного собеседника на второго и со второго на третьего, подобно зрителям на соревнованиях по настольному теннису. Я где-то уже использовал такое сравнение, но, в конце концов, я не профессиональный писатель, и не гоняюсь за красотами литературных тропов. Да и вообще – язык такая нелепая субстанция, которую лучше всего использовать по другому назначению. Неважно. Словом, так оно всё и было. Ещё иностранная девушка Сабина мёрзла. Не было у меня дома особенно холодно, клянусь, не было. Вполне нормальная температура для наших широт. Дело было не то зимой, не то в самом-самом начале весны. Но она была девушкой из теплокровной страны и поэтому мёрзла, часто чихала и кашляла, так что даже пришлось, в конечном итоге, выдать ей какой-то плед. В который она завернулась для полноты картины. Мы не заставляли её говорить, нет, она, в основном, слушала. Не знаю, что она вынесла из нашего разговора, возможно, что ничего и не вынесла. Возможно, что из него нечего было выносить, а возможно, она, напротив, поняла гораздо больше, чем мы туда изначально вкладывали.

Собрались мы, собственно, по инициативе выплывшего Фогельсона. Он как раз появился после очередного полугодичного пропадания. И возмел желание собраться именно в такой компании. Ну, за исключением девушки Сабины, которая появилась как-то неожиданно и спонтанно. Потом, несколько позже, при следующей нашей встрече, кажется, Фогельсон сетовал на то, что девушек могло бы быть и больше, и тогда всё было бы совсем по-другому. Ну, совсем по-другому. Не знаю, я не задумывался над этим. И так, мы опять что-то ели и что-то пили. Потом я пропускаю один момент, делаю некоторую склейку. Не потому, что я не помню, что там произошло посередине, а просто потому, что это не очень существенно, это всё пути нашего дао, если можно так выразиться. И в этом смысле – не всё ли равно, какими конкретно путями наше дао придёт к нам? Короче, в какой-то момент кто-то из нас троих сказал, что не попробовать ли нам воскресить былое. И тогда мы сели на ковёр. Все вчетвером. Один из нас пытался это былое воскресить. Двое сопротивлялись. Тот, кто пытался воскресить, был очень активен в своих попытках. Он подходил с разных сторон, пытаюсь увлечь этой идеей остальных. Остальные не видели смысла в таком воскрешении – но не решались прямо об этом сказать. Если честно, я не помню главного. Я не помню, кто есть кто. То есть, я не помню, кто предложил воскресить былое, и кто были два других. Возможно, я с самого начала назвал неправильных людей. Возможно, никого вообще не было из тех, кого я упоминал. Поэтому исключительно для удобства повествования предположим, что активным деятельным элементом картины являлся, собственно, Фогельсон, а пассивными контрагентами – мы с Ипатовым.

Итак, если возвращаться. Фогельсон предложил собраться. Мы собрались. Сначала мы думали, что мы собрались, ну, просто так. Вроде как повидаться. Вроде как давно не виделись – и решили повидаться. Как люди обычно делают. Куда там. С Фогельсоном такие штуки не проходили. Что значит «как люди» – вопрошал он и потрясал чем попало в воздухе. «Либо люди, либо нет, никаких таких „как“!» – кричал и потрясал. Ну, это, я так думаю, что внутри него примерно такая штука происходила. Может быть и так, что ничего он не кричал и не потрясал. Я не знаю. Может быть, он просто был естественно таким. Словом, иллюзии наши развеялись достаточно скоро. Девушка Сабина переводила глаза с одного собеседника на другого и третьего, а Фогельсон не потрясал, а, скорее, улыбался. Чуть ли не с места в карьер предложил он сесть на ковёр и воскресить былое. Нет, вру. Он просто предложил воскресить былое. Или, если точнее, он предложил доделать недоделанное. Что неизбежно вело в этой ситуации к воскрешению былого.

- Помните, – сказал Фогельсон. – Мы делали и недоделали.
- Ну, – сказали мы с Ипатовым.

Девушка Сабина переводила взгляд.

– А как вы посмотрите на то, если мы сейчас возьмём – прямо сейчас – и доделаем это недоделанное?

– Зачем? – не поняли мы с Ипатовым.

– Чтобы оно было доделано. У нас есть время до утра. К тому же, я готовился.

Фогельсон вышел и скоро вернулся. Да, он готовился, трудно было бы отрицать этот факт. Он очень хорошо и подробно приготовился. Девушка Сабина посмотрела на него заинтересованно. Всё же, чья она была знакомая? Не помню, хоть убейте.

Мы с Ипатовым стали смеяться. Это сначала. То есть, мы пытались перевести разговор в шутовскую плоскость. Стали так ненавязчиво спускать идею Фогельсона на тормозах. Мы думали, что Фогельсон не то, чтобы шутит, но замышляет что-то другое, в чём нам никак не хотелось участвовать. Дело в том, что у Фогельсона была такая манера выражаться, держать и преподносить себя, из-за чего постоянно казалось, что у него что-то такое особенное на уме. Казалось, он говорит одно, а на самом деле хочет тебя развести на что-то совсем другое. Притом, так не мне одному казалось. Я спрашивал. Ипатову казалось то же самое. Ещё некоторым людям, которые неожиданно оказывались общими знакомыми меня и Фогельсона. Он был не то чтобы скользкий тип, но постоянно от него хотелось ждать подвоха. Именно хотелось. На самом деле он обычно говорил как раз то, что и имел в виду, не больше, не меньше. Но вот манера – манера всё портила.

Мы с Ипатовым отшучивались, Фогельсон отстаивал свою идею, но не особенно активно. Мы было уже подумали, что на этот раз он всё-таки решил нас разыграть – не разыграть, а просто поддержать приятную компанию. Девушка Сабина, коверкая русские слова, переводила взгляды. Да, я уже упоминал, что она говорила по-русски. Или делала вид. Потом мы перешли с кухни, где находились до этого, в комнату – и как-то сразу сели на ковёр. Ещё раз скажу, что я не помню, кто это предложил. Может быть, никто и не предлагал. В любом случае бороться с Фогельсоном на ковре оказалось сподручнее. Первоначально.

Итак, мы уселись на ковёр и стали бороться. Фогельсон подходил к нам с разных сторон. Он приводил нам разнообразнейшие аргументы в пользу воскрешения прошлого, а точнее, доделывания некогда недоделанного. Но парадокс как раз в этом отчасти и заключался – он воспринимал свои призывы всего лишь как естественное и здоровое стремление человека закончить однажды начатое дело, мы же с Ипатовым воспринимали их как нелепые попытки воскресить прошлое, войти два раза в одну и ту же мутную стоячую лужицу. И не видели смысла. Девушка Сабина переводила глаза и не сразу

садилась на ковёр, она выступала в роли рефери, что ли. У меня сложилось такое впечатление, что она любопытством смотрела, кто кого одолеет. Вероятно, в любой женщине, ещё со времен рыцарских турниров сидит это подсознательное желание наблюдать за мужскими битвами – и увенчать победителя хоть чем, элементы увенчивания менялись. Так же как и стимулы к мужским состязаниям подобного рода. Раньше-то жизнь была тоскливее, вот и дрались по большей части именно за право быть увенчанными небесной нимфой какой-нибудь, завшивевшей от недостатка проточной воды. «Леди Роксана!» – кричит какой-нибудь экзальтированный рыцарь. «Ах, мой рыцарь!» – вторит ему леди Роксана, а у самой на плечи гниды сыплются. Извините. Потом жить стало веселее и лучше, и мужчины стали состязаться уже за более весомые призы, например, социальное положение, уважение и почёт за столом, размеры премии и тринадцатой зарплаты – ну и так далее. Тут буфетчица Зинаида служила только поощрительным призом, таким маленьким приятным бонусом к горячей партийной благодарности. В наши дни цивилизация зашла ещё дальше – и мужчины состязаются порой совсем без призов. Эта игра называется у них «Кто круче». Кто выигрывает турнир, получает совершенно неофициальный титул крутого чувака и немедленно начинает этим гордиться. Некоторые даже просят засвидетельствовать их крутость в письменном виде и носят эти грамоты потом в карманах, бережно сложенными. Другой подвид крутизны заключается как раз в обратном – изо всех сил показывать, что для тебя равным счётом никак не важно, кем тебя считают окружающие. Такой вот ты самобытный и неповторимый, что крутость в общепринятом понимании этого слова (написанном на бумажках) тебя ну ни капельки не забавляет. Именно такого рода состязание устроили мы втрём на глазах у иностранной девушки Сабины. Иногда с победителями таких соревнований девушки спят – в качестве бонуса – но это был не наш случай. Нам и не нужно-то это как-то было. Даже на принцип пошло.

– Почему вы не хотите закончить начатое? – спрашивал Фогельсон, искренне не понимая нашей позиции.

– А зачем это делать, ты можешь объяснить? – недоумевали, в свою очередь, мы.

– Чтобы закончить. Потому что двигаться дальше можно только тогда, когда не осталось неоконченного. Неоконченное – если оно остаётся – всегда будет тянуть к себе, памятью и другими вещами, и затруднять движение вперёд.

– Это совсем необязательно, – говорили мы. – И потом, мы как раз и двинулись дальше. Преодолели инерцию неоконченного, раз ты об этом заговорил. И – всё. Всё. Это нам больше не представляется важным.

– Не может такого быть, – говорил Фогельсон. – Я ведь вас знаю. Мы достаточно давно знакомы. У нас были общие интересы. Мы вместе начинали. Но так случилось, что недоделали. Вы ведь всё время мне говорили, что жалеете о том, что мы недоделали.

– Говорили, – говорили мы.

Не скажешь ведь, что мы так говорили только из ложно понимаемого такта. Нам нравилось с ним общаться, вот и вся разгадка. Он был какой-то такой, необычный. Интересный был. Не похожий ни на кого. Вот этой своей заикленностью не похожий. И пропаданиями периодическими. А он общался с нами только из соображений доделывания недоделанного. Или так нам казалось. Он верил, что нас связывает какое-то общее дело, какие-то общие идеи и задумки. А этого не было, давно уже не было. Может ли связывать людей воспоминание об общем недоделанном деле? Я не знаю. С одной стороны посмотреть, например, спортсмены разные. Вот футболисты. Ведь они собираются потом, много лет спустя после того, как совместно играли. И вспоминают на банкетах своё общее дело. И, как правило, оно остаётся у них недоделанным, потому что только малая их часть что-то реально выигрывала, получала какие-то медали и регалии. Но, с другой стороны, жизнь-то на самом деле идёт вперёд. И мы ещё чувствуем себя полными сил и энтузиазма делать что-то новое. И старое, недоделанное, стремимся из воспоминаний выбросить. Потому что – так устроено – недоделанные дела остаются таковыми потому, что делатели теряют к делаемому интерес. Во всяком случае, так было в этом конкретном эпизоде. Мы с Ипатовым потеряли интерес, а Фогельсон, как выяснилось, его не терял. А совсем наоборот, все эти годы жил желанием собраться ещё раз – и не просто так, потому что просто так мы собирались не раз – а именно с целью окупиться ещё раз в то недоделанное дело – и доделать его.

И зачем он только с нами это сделал?

– Понимаешь, – говорили мы, – да, когда-то нас связывали общие интересы. У нас было желание сделать это самое дело. Да, мы не отрицаем этого. Это было для нас важно в ту далёкую пору. Но, понимаешь, прошло время. Много времени прошло. У нас развилась какая-то своя жизнь. Пусть даже она не кажется тебе интересной. Мы знаем, ты пытаешься стать профессионалом в своём деле. Мы же остались любителями, причём не сейчас даже любителями, а тогда, в ту далёкую пору. Сейчас даже любители ушли от нас семимильными шагами вперёд. Мы элементарно не умеем больше.

Девушка Сабина взяла русскую книгу и стала читать нам вслух, безбожно коверкая слова – но не обращая на это ни малейшего внимания. Запала её, впрочем, хватило ненадолго, она прочитала где-то четыре страницы и спеклась.

– А тут не нужно уметь, – сказал Фогельсон. – Гораздо важнее искренность. Стремление что-либо сделать, горячее стремление зачастую перекрывает холодный профессионализм.

Да, но я-то так больше не думал. Не знаю про Ипатова – но как раз в этом моя позиция радикально изменилась. И проблема заключалась как раз в том, что я не мог – и Ипатов не мог, мы обсуждали это – раз и навсегда сказать Фогельсону, что нас это не интересует. Мы гераклитовцы, дескать, вода протекла, и – всё. Всё. Всё. Это трудно, сказать человеку, страстно чем-то интересующемуся, что тебя его сфера интересов совсем не волнует. Когда-то, возможно, волновала, а возможно, что даже и нет. Может быть, ты всегда только делал вид – или, опять же, занимался этим за компанию, или потому, что тебе нравилось общаться с этим заинтересованным человеком, а иных путей не было. Ведь лучший способ подружиться с квантовым физиком – говорить с ним про кванты. И тогда он будет считать тебя мировым парнем и поить водкой почём зря. Потому что квантовые физики – все пьющие, так у них заведено. Лучший способ подружиться с пидарасом – говорить ему о своей гей-толерантности, и он, опять-таки, будет считать тебя мировым парнем и поить почём зря. Только уже не водкой, пидарасы, они редко пьют водку. Отчего-то у них не очень принято её пить, недостаточно интеллектуально, видимо. Они, как правило, предпочитают разные странные напитки, вроде кальвадоса или абсента. Нет, вы только ничего не подумайте, я сам не дурак абсента выпить. Да и вообще, я действительно гей-толерантен. Но это я опять отвлёкся.

Итак, мы продолжали сидеть на ковре, вертели в руках приборы и вяло отпихивались от наседающего Фогельсона. Приборы работали. Девушка Сабина переводила глаза с нас на приборы. И обратно.

– Нет, ну хорошо, – Фогельсон делал вид, что шёл нам на уступки. – Если вы считаете, что я пытаюсь вернуть прошлое, я согласен. Согласен с тем, что его нельзя вернуть – да и не стоит. Предлагаю вам другой вариант. Вы ведь помните наши встречи семь лет назад?

– Помним, – говорили мы.

– И наши попытки, попытки действия, – продолжал Фогельсон.

– Помним, – снова говорили мы.

– И то, почему мы не смогли завершить эти попытки, тоже помните?

На самом деле, тут наступал тупик, потому что каждый из нас, включая и девушку Сабину, которая ничего о тех событиях семилетней давности и слыхом не слыхивала, так вот, каждый из нас имел свою собственную версию ответа на этот вопрос.

– Мы не завершили попытки, потому что так получилось, – ответил Ипатов. – Просто, так бывает. Бытовые обстоятельства помешали нам их завершить. Бывает такая штука – можно назвать её кармой. Не судьба была.

– Мы не завершили попытки, потому что по-настоящему не хотели этого, – ответил я. – Никогда не хотели.

– Мы не завершили попытки, потому что не были к этому готовы, – ответил сам Фогельсон.

Девушка Сабина переводила взгляд – и это был её ответ, возможно, самый правильный из всех прозвучавших, а возможно, объединивший в одном ответе все три наших ответа.

– А теперь я предлагаю вам другой вариант, – продолжал Фогельсон. – Я предлагаю вам посмотреть на себя тогдашних с расстояния прожитых лет – и завершить наши тогдашние попытки не по-тогдашнему, а так, как бы вы – мы – сделали это сейчас.

Господи, ну зачем он это с нами сделал?

Вот это «вы-мы» – показалось мне знаковой оговоркой, и я стал слушать внимательнее.

– Я имею в виду, не возвращаться в прошлое, если вы не хотите, если вы считаете, что это невозможно с философской точки зрения, а попытаться всё переосмыслить, что ли.

– Дело не в том, – сказали мы, – что возвращение в прошлое невозможно, как ты говоришь, с философской точки зрения. Все любят возвращаться в прошлое, это такая классическая человеческая болезнь – любовь к возвращениям. Есть масса народу, который страдает этим.

– Я и сам страдаю, – сказал я наособицу, выделившись из группы.

– И как ты туда возвращаешься? – спросил заинтересованный Фогельсон. Ипатов тоже посмотрел на меня с любопытством, не говоря о девушке Сабине.

– Я? Я не возвращаюсь, я только пытаюсь всё время. В том смысле, что физически не возвращаюсь. Памятью только возвращаюсь. Воспоминания часто посещают – и кажется тогда, что в прошлом всё было лучше, достойнее и натуральнее. Вот именно, натуральнее. Такое ощущение, что прошлое было подлинником, а настоящее является его бледной копией. Краски не те, блеклые какие-то, и накал страстей такой... ну, фальшивый слегка. Вам не кажется такого?

– Мне не кажется, – сказал Ипатов. Прошлое было хорошо само по себе, а настоящее хорошо не менее, но само по себе. В каждом времени есть свои прелести. Я вам больше скажу, я даже уверен, что и будущее хорошо само по себе.

– Я, например, вовсе в существовании будущего не уверен, – сказал я.

– А я считаю, что будущее будет существовать, если мы приложим к этому определённые усилия, – сказал Фогельсон. – Если мы выполним все наши миссии в прошлом и настоящем, тогда мы сможем с чистыми совестями

двинуться вперёд в будущее. Что же касается прошлого, я, если честно, не люблю в него возвращаться. Ни мысленно, никак не люблю. Много уж очень мерзостных вещей там хранится, в прошлом.

– Это, видимо, особенности памяти, – сказал я. – Моя сохраняет хорошее, и вымарывает плохое, твоя – вполне возможно – действует с точностью до наоборот.

– А если ты говоришь, что не любишь возвращаться в прошлое, – спросил Ипатов, – то чего ж ты тогда нам предлагаешь заведомо неприятную для тебя же самую процедуру?

Он посмотрел на Фогельсона через дно стакана, как через подзорную трубу.

– Я же не совсем это предлагаю. Просто – мне очень интересно, что с вами стало за эти несколько лет, как вы изменились. Я помню, как вы думали и что говорили тогда. И хочу посмотреть, как теперь изменились ваши взгляды и концепции.

– Главное изменение в наших взглядах и концепциях есть то, – сказали мы, – что теперь мы не видим необходимости в возобновлении наших тогдашних попыток. Собственно, мы и тогда-то, честно говоря, не особенно видели необходимость, но тогда у нас хотя бы желание было. Или, скажем, когда мы собирались все втроём, у нас высекалась искра совместного желания. Может быть, каждый по отдельности и не хотел ничего точно так же, как сейчас не хочет, но друг перед другом мы боялись в этом признаться. И поэтому для действий – мы должны были собираться вместе. Сейчас и этого желания не возникает. Потому что каждый из нас, с разной степенью успешности, делает что-то по отдельности. И потому что мы достаточно повзрослели, чтобы понять, что ничего мироизменяющего мы не совершим.

– То есть, вы сейчас обвиняете меня в инфантильности? – как-то обиженно спросил Фогельсон.

– Нет. Вообще обвинять – это как-то неправильно, что ли. Не стоит никого ни в чём обвинять. Просто твои приоритеты остались прежними, а наши поменялись. Это не хорошо и не плохо. Это данность.

– И какие теперь у вас приоритеты? – спросил Фогельсон.

– Просто жить. Мы пытаемся просто жить и не стремимся достигать в этом занятии каких-то заоблачных высот, – сказал Ипатов за двоих и покривил душой. Я не стал его исправлять. Зачем вообще рассказывать кому бы то ни было о своих приоритетах? Есть вещи, которых я не понимаю, и эта – одна из них. Что, станет кому-то легче жить от того, что я расскажу ему о своих приоритетах? Не думаю. Почему-то я совершенно так не думаю.

– Неужели? – не поверил Фогельсон. – Но вы ведь согласитесь, что большая часть людей живет неправильно?

– Почему? – спросили мы. – Люди, неважно какая их часть, живут ровно так, как живут. Нельзя сказать, что так жить правильно, а по-другому – неправильно. В конце концов, каковы критерии? Кто возьмётся рассудить? На каком основании?

– Но я ведь знаю, – сказал Фогельсон, – как нужно жить.

– И как же? – спросили мы.

– Ну как, это же элементарно. Не позволять быту дозвониться над собой. Заниматься духовным ростом и самосовершенствованием. Учить людей, как надо жить.

– И как ты планируешь их учить? – спросили мы. – Личным примером?

– Почему обязательно личным примером? Личным примером нельзя научить многих. Ну, одного можно повернуть в правильное русло, двоих. Ну, десять человек, если очень постараться. Но не массу.

– А как быть с массой?

– Их нужно наставлять незаметно, исподволь. Влиять на них. Для этого существуют различные научные методы. Можно прибегать к методу массового гипноза, например.

– То есть, устанавливая на площадях большие громкоговорители – или экраны – и оттуда вещать разумное, доброе, вечное?

– Не обязательно. Можно прибегать к более хитрым способам. Здесь нужно забыть о соображениях честности и благородства. Если можно обманным путём подвигнуть человечество жить по-настоящему, жить насыщенной и духовной жизнью, то нужно не стесняться и пойти этим самым обманным путём.

Наш разговор стремительным образом покидал пределы здравого смысла и устремлялся в какие-то неизвестные дали.

– И поэтому мы должны вернуться в прошлое?

– Да никто не говорит о возвращении в прошлое. Я ведь уже отказался от этой мысли. А по правде сказать, у меня и не было изначально такого замысла. Я же пытаюсь вам объяснить – я хочу знать ваше теперешнее мировоззрение и мысли на этот счет. Я хочу сделать какой-то творческий прорыв с вами, так чтобы мы поняли, как нас изменило время.

– Время и показало нам, что всяческие творческие прорывы лучше бы откладывать в сторону. Давай лучше поедим, – предложили мы. – Или ты выступаешь против телесной пищи вообще?

– Ну зачем вы так грубо противопоставляете? – спросил Фогельсон.

– Одно должно гармонизировать с другим.

– Странное слово – «должно», – сказал я.

– Есть много странных слов, – сказал задумчивый Ипатов. – Например, странное слово «большинство». Или странное слово «духовность». «Культура» – одно из самых странных слов. «Творчество» тоже.

Я согласился с ним.

– Да. Насколько проще и понятнее простые слова. «Молоко», например. Или «колбаса». Или «бумага».

– «Молоко» – совсем не простое слово, возразил Фогельсон – и как за-бабахал что-то по-гречески. Я такого от него не ожидал, честно говоря. Но перевода не стал требовать. Потому что это как игра. Человек ждёт, что от него потребуют перевода сложной иноязычной сентенции, и напрягся, преисполнился значимости, готов небрежно так, но, по возможности, с максимальной точностью воспроизвести ту же самую мысль на языке, понятном окружающим обывателям. А обыватели оказываются не так просты, и перевода не просят. Всю нарочитую небрежность снимает как рукой. Так и с Фогельсоном произошло. Он надулся и запыхтел.

– Ничего, – вдруг сказала по-русски девушка Сабина.

Непонятно, то ли она хотела внести свою лепту в разговор о странных словах, то ли что другое имела в виду. Я не понял. Но переспрашивать не стал – уже из других соображений. Жалко её стало, вдруг она не сумеет объяснить, запутается, и весь эффект пропадёт.

– Вы не против, если я наш разговор потом использую? – спросил неожиданно Фогельсон.

– Как это? – спросили мы.

– Ну, не знаю. Мне кажется, что у нас сейчас вполне может родиться что-то конструктивное. Я просто постараюсь запомнить, что мы тут сейчас говорим – и потом как-нибудь использую. Надеюсь, вы не возражаете? Собственно, я мог бы и не спрашивать вашего разрешения – потому что каждый человек является полноправным хозяином своей памяти, и я мог бы просто взять и черпать из неё, когда придёт время. Но я посчитал нужным спросить у вас разрешения, потому что так правильнее, что ли.

– Эээ, нет, – сказали мы с Петром Ивановичем. В смысле, с Ипатовым. – Во-первых, насчёт того, что каждый хозяин собственной памяти – это вопрос спорный, неоднозначный вопрос. Мы бы не стали так бинарно решать эту задачу. А во-вторых, как мы можем дать тебе разрешение на использование наших мыслей, если мы не знаем, как именно ты собираешься их использовать. Может быть, ты используешь их нам во вред.

– Как вы себе это представляете? Я могу дать вам честное слово, что не использую ваши слова против вас – и более того, когда придумаю, как именно я их использую, я дам вам это на рассмотрение.

– Что «это»? – спросили мы.

– Ну, вариант использования. Стенограмму, если хотите.

– На фига нам это? – сказали мы. – Если мы одобрим тот вид, которым ты хочешь использовать наш сегодняшний странный разговор, то содержание-то беседы не будет иметь значения. Оно и так его не имеет.

– То есть, по-вашему, форма доминирует над содержанием? – моментально уцепился Фогельсон.

– Вот ты какой педантичный, – сказал я, перепутав термины, вернее, не подобрал нужного. – Всё, понимаешь ли, зависит от конкретных обстоятельств.

Да, и сейчас я сам использую этот разговор. Безо всяких разрешений. Да.

– Содержание и форма вообще очень странно друг с другом соотносятся, – сказал Ипатов. – Ведь как считается? Считается, что содержание не в пример важнее формы. А если посмотреть непредвзятым взглядом, то, пожалуй, это и не совсем так. Достаточно часто бывает, что форма первична. Иногда форма даже определяет содержание.

– Не согласен, – сказал Фогельсон. – Приведи пример, хоть один, когда содержанием можно пренебречь ради формы.

– Ну, почему же пренебречь сразу, – сказал Ипатов. – А пример – пожалуйста. Например, женщины.

– Что – женщины? – спросил Фогельсон.

– В женщинах нас гораздо чаще и острее волнуют формы, чем содержание. Порой до содержания вообще не добираешься, настолько увлекают формы.

Девушка Сабина посмотрела на Ипатова с особенным вниманием. Я так до конца и не понял, насколько она понимает по-русски. То есть, она явно что-то понимала, но сколько? Осталось это невыясненным.

– Это нарочитый пример, – сказал Фогельсон. – Нарочитый, надуманный и эстетский.

– А бывает ещё и так, – сказал я, – что содержание и форма никак вообще между собой не соотносятся.

– Это как-то слишком туманно, – сказал Фогельсон.

– Да, тут ты что-то перехватил, – сказал Ипатов.

– Пожалуй, да, туманно, – согласился я. – Возможно, перехватил.

– Так, что, – вернулся Фогельсон, – значит, вы отказываетесь завершать начатое дело?

Отчего-то мы не могли просто и доступно сказать, что, да, отказываемся. Возможно, на этом всё бы и прекратилось, мы бы просто мирно побеседовали и разошлись по домам, чего я, к примеру, давным-давно уже желал.

– Нет, почему отказываемся, – сказали мы. – Мы не отказываемся. Просто на данном этапе, пока, мы не видим в этом никакой необходимости. Наше субъективное желание не побуждает нас к этому действию.

– А к чему побуждает вас ваше субъективное желание? – резонно спросил Фогельсон.

– Наше субъективное желание, – резонно ответили мы, – побуждает нас просто сидеть на ковре и общаться. Это как раз та форма, которая нам ближе всего в настоящий момент.

По крайней мере один из нас врал, делая это утверждение.

– Нет, просто так общаться мы всегда успеем, – сказал Фогельсон. – Как раз сегодня мы имеем уникальный шанс сделать что-то вместе. У нас был такой шанс много лет назад, вспомните. Мы тогда вместе его создавали и вместе шли к этому шансу. Но, когда мы его получили, по объективным ли, по субъективным ли причинам, мы его не использовали. И сейчас – усилием моей воли – этот шанс появился у нас опять. Вы только вдумайтесь. Как мало людей на этой земле получают второй шанс. У нас он есть. Я даже не поставлю себе в заслугу то, что именно мне пришла в голову эта идея. Я уравниваю всех троих. Но раз так случилось, глупо было бы не использовать этот шанс.

– Шанс создан искусственно, – сказали мы. – Возможно, в этой искусственности кроется такой смысл, что провидение – или называй его как хочешь – не желало давать нам этого шанса. А значит, без понту пытаться его использовать или не использовать. Если бы ситуация сложилась так сама собой, тогда другое дело. А так – нам всё равно трудно отрешиться от мысли, что это положение создано твоей отдельно взятой произвольной волей.

– Так вы что, фаталисты? – спросил Фогельсон.

– Мы? Мы нет, не фаталисты, – сказали мы и задумались.

Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу?

– А кто же вы тогда? – спросил Фогельсон.

– Это смотря как посмотреть, – сказали мы. – Прежде всего, мы отдельно. Мы не «вы». Мы – я и я. Совершенно непонятно, почему ты рассматриваешь нас в целом.

– Я так привык. Признаю, тут вы правы. Безусловно, правы. Я попытаюсь исправиться. Но это проблема моего восприятия.

Потом Фогельсон достал диктофон, включил его и поставил между нами на ковёр.

– Это зачем? – спросили мы.

– Я хочу зафиксировать, – сказал Фогельсон.

И вот тут, наконец, многое стало ясно. Стало ясно, что он просто-напросто решил нас использовать. Опять-таки, слово «нас» тут не имеет никакого значения. Мне всё равно, как он будет использовать Ипатова или там девушку Сабину, которая продолжала переводить взгляд, её глаза перемещались, как безумные, словно она наглоталась чего-то. Всё равно. Но – использовать меня! Это такое, с чем я ещё никогда в жизни не сталкивался до того момента, с таким неприкрытым и нахальным использованием. Он, значит, решил взять мои мозги, мои формулируемые ими вербальные формулы и лингвистические конструкции – неважно, стоит что-нибудь за ними или нет – и каким-то образом использовать в своих мелких интересах. Да пусть даже в крупных, пускай он, как уверял, собирался построить на этом какие-то свои научные разработки, создать программу третьей реальности, моделировать человеческое поведение и управлять человеческим мозгом – в самом прямом, первобытном смысле этого слова. Всё равно – кто давал ему такое право. Мои мозги и конструкции – это, фактически, все, что у меня есть своего. Всё, на что распространяется мой суверенитет, это единственное, что находится только в моей юрисдикции. Пускай это даже фикция – мне приятно думать именно так. Я думаю именно так и с этой мысли меня не свернуть. И вот приезжает какой-то хмырь, выныривает откуда-то из полугодичного небытия, и начинает использовать мои мозги в целях гуманистической революции. Я посмотрел на Ипатова. Ипатов посмотрел на меня. Я вдруг отчетливо осознал, что Ипатов относится ко мне, как к ребёнку, то есть, с одной стороны, не принимает слишком всерьёз, но, с другой стороны, некоторым образом защищает и опекает от ультрафиолетовых воздействий враждебного мира. Потому что, когда ты сидишь на ковре, мир враждебен к тебе. Потому ты и сидишь на ковре. Причины и следствия тут утеряны, и начала не найти. Этакий уроборос, как бы ни затирали это слово разного рода грёбаные мистики. Но ещё мне стало понятно, что мысли Ипатова на счёт происходящего сходны с моими. И тогда мы стали говорить в диктофон всякую ерунду. Ипатов начал с того, что рассказал непристойный анекдот, который, кажется, в полной мере понял только девушка Сабина и покраснела. Потом Ипатов сказал:

– Мы всё равно ничего не запомним, поэтому поставь музыку.

Мы стали спорить, какую именно музыку слушать. То есть, спорили Ипатов и Фогельсон, я только вынимал одни диски и ставил другие. Так мы развлекались где-то около часа, пока, наконец, мне это не надоело и я выключил всякую музыку вообще. Потом мы стали спрашивать девушку Сабину, какие русские слова она знает. Она стала их говорить, забавно коверкая. Словарный запас у неё был не слишком большой, но достаточно всеобъемлющий. Особенно меня вдохновили слова «скороварка» и «сутенёр». Потом мы стали пытаться петь. Поскольку никто из нас не обладал ни слухом, ни голосом, то картина получилась удручающая. Тогда Фогельсон взял диктофон в руку, поднёс его к самому рту и сказал:

– Сейчас, когда приготовления закончены, каждый скажет, что он думает обо всём этом.

– О чём? – спросили мы.

– Обо всём происходящем, – объяснил Фогельсон. – Об этом дне, о попытках вернуть прошлое, или, вернее, доделать недоделанное, или, ещё вернее, о том, какие изменения с ним произошли за этот срок и не позволяют теперь всерьёз рассматривать вопрос о возвращении прошлого.

– Зачем это? – спросили мы.

– Просто так, – сказал Фогельсон. – Разве вам не интересно? А потом можно будет прослушать, ещё спустя несколько лет – и снова отследить изменения, произошедшие в каждом из нас. Если вы так недоверчиво смотрите, извольте, я могу начать.

– Начни, – сказали мы.

– Я думаю, – сказал Фогельсон, – вот что. Я рассчитывал собраться здесь, чтобы доделать начатое. Потому что я считаю, что каждое дело нужно доводить до конца. Даже не просто из какого-то моего внутреннего педантизма, который, откровенно говоря, мне присущ, тут мои друзья правы. А больше потому, что я лично рассчитываю двигаться дальше. А двигаться дальше возможно только, отталкиваясь от чего-то уже существующего. Должен быть какой-то фундамент, на котором возможно строить последующие этажи. Если этого фундамента не будет, то всё здание моей жизни элементарно разрушится, как карточный домик. В одночасье. И лишним будет говорить, что мне этого не хочется. Потому что это, в конце концов, моя жизнь. Я решил прожить её не просто так. Я решил прожить её с пользой. В идеале – с пользой для человечества. И вот этот вот отказ меня огорчает, если говорить начистоту. Это – последняя, я думаю, попытка всё-таки настоять на своем. Или нет. Я не буду говорить «настоять», потому что иначе получится так, что я навязал кому-то свою волю. А этого мне меньше всего хочется. Это просто предложение – и мне хотелось бы, отчаянно бы хотелось, чтобы оно оказалось принято. Это очень важно для меня. От этого для меня очень многое зависит.

Он ещё немного помолчал и выключил диктофон. Потом спросил, кто будет следующим. Мы решили, что следующей будет Сабина. Фогельсон пожал плечами и передал диктофон ей. Я не знаю, нажимала ли она на кнопку, но она честно что-то говорила туда минут семь на своём языке. Её речь получилась длиннее, чем речь Фогельсона. Иногда она запинаясь, отматывала плёнку чуть назад, прослушивала, стирала и наговаривала какую-то замену сказанному. Мы слушали её, затаив дыхание. Не знаю, как остальные, я лично ничего не понял.

Потом настала очередь Ипатова.

– Не совсем понимаю необходимости подобных выступлений, – сказал он в диктофон, держа его очень близко у своего рта и даже как будто заглядыва-

вая туда. – Мы сидим, общаемся, да, немножко выпиваем, чтобы общение стало непринуждённое, чем оно бывает обычно. Потом мы разойдёмся по домам. Потому что любое общение когда-нибудь заканчивается. Я больше скажу, потому что любое общение необходимо когда-нибудь заканчивать. Оно должно быть – десертом, удовольствием, приятным, но маленьким праздником. Поскольку если оно затянется, перейдёт временные рамки, которые для него установили его участники – тогда оно грозит превратиться в рутину, в повседневность – и станет тягостным. Но я не о том хотел сказать. Так вот, мы сидим, общаемся и – и всё. Понимаете – и всё! И не надо искать тут каких-то смыслов и подтекстов. Это просто разговор. Разговор с приятными мне людьми. Разговор ни о чём. Потом мы разойдёмся. Но я об этом, кажется, уже говорил. Да. Разойдёмся и всё. И потом, некоторое время спустя, встретимся снова. И будем снова общаться. Так же или чуть-чуть по-другому. Может быть, мне понравится наше следующее общение больше, чем нынешнее. Может быть, нет. Может быть, я разочаруюсь в нашей следующей встрече и больше никогда не захочу вас видеть. Может быть, я разочаруюсь уже после этой встречи – и не приду на следующую, как бы вы меня не зазывали. Это всего лишь – всего лишь общение. Мы сидим на ковре, немножко выпиваем – и разговариваем. Просто так нам приятно, так нам нравится проводить этот конкретный вечер. И вот я не понимаю, зачем его нужно увековечивать, зачем я, здравомыслящий человек, должен говорить всякую фигню в эту маленькую черную дырочку, где живет мембрана. Это странно. Это бессмысленно. Это убивает идею общения. Общение мимолётно – и этим хорошо. Всё.

В какой-то ярости Ипатов отбросил от себя диктофон. Я подумал, что Фогельсон сейчас обидится на него и они ещё, чего доброго, подерутся, но я недостаточно знал Фогельсона. Он взял диктофон, подержал его в руке, улыбнулся и сказал:

– Спасибо за экспрессию. Она уже доказывает, что вам небезразлично происходящее.

– Кому – вам? – спросил Ипатов. – Я сейчас говорил сам за себя, отдельно. Вот он сейчас сам за себя и скажет, что ему безразлично или не безразлично. А что касается меня, то я просто не понимаю, зачем ты так обставляешь рядовое мероприятие. Обычно люди собираются, чтобы расслабиться, а ты почему-то постоянно держишь нас в напряжении.

– Но это и правильно, – сказал Фогельсон. – В расслабленном состоянии нельзя ничего создать. Мозг отдыхает. А в напряженном состоянии – мозг начеку, он всё время крутится и щёлкает, хотя бы для того, чтобы установить причины этого самого напряжения – и снять его, по возможности. И вот тут мы искусно направим его активность в совершенно другую сторону, отвлечём его от снятия напряжения – и устремим в сторону позитива и креатива. Получится что-то прекрасное, как мне кажется.

– Да зачем непременно надо что-то создавать? – почти простонал Ипатов.
– А разве нет? Разве проще прожить обычную растительную жизнь? Нужно быть творческим человеком и изменять эту вселенную.

Ипатов натурально простонал. Очень как-то жалобно у него получилось.

– Ну, теперь твоя очередь, – сказал мне Фогельсон. – Теперь ты говори.

– Чего говорить? – спросил я.

– То же, что и мы. Что ты думаешь по поводу сложившейся ситуации, по поводу сегодняшнего дня и сегодняшней нашей встречи. Как ты расцениваешь возможность восстановить прошлое – или возможность доделать несделанное раньше. Словом, вообще, любые твои мысли на этот счет.

– Поток сознания, то есть, – сказал я.

– Давай избегать литературных терминов, ладно? – попросил Фогельсон.

– А при чем тут литература? Я никакого отношения к литературе никогда не имел и иметь не хочу, – сказал я. – Я просто для удобства охарактеризовал. Так мне понятнее.

– Ну, называй как хочешь, – разрешил Фогельсон.

Я поднёс диктофон ко рту и сделал вид, что включаю. На самом деле я его не включил – и не могу даже объяснить, почему. Акция, задуманная Фогельсоном, была не умнее и не глупее разных прочих акций, в которых я принимал участие в своей молодой жизни. Но тут что-то во мне взбунтовалось против этой непонятной обязанности фиксировать свои ощущения. Поэтому я не стал включать диктофон, а говорил просто в чёрную дырочку мёртвого молчащего аппарата. То есть, нет, он шуршал – потому что я догадался, что необходимо, чтобы на диктофоне горел красный огонёк, сигнализируя о том, что он работает и я не симулирую. Но при этом я нажал на паузу.

– Сегодня вторник, – сказал я. – Обыкновенный рабочий день. Я отработал свои положенные восемь часов и пришел домой. Потом ко мне пришли люди и мы стали общаться. Эти люди мне приятны – если бы они не были мне приятны, я бы не стал с ними общаться. Вот. Мы сидим на ковре и общаемся на разные темы. Потому что – что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Я не стремлюсь запечатлеть в своей памяти события этого вечера – потому что я думаю, если события этого вечера окажутся важными с какой-нибудь точки зрения, они запомнятся мне и так, без дополнительных усилий с моей стороны. А если они не запомнятся, значит, ничего важного здесь и сейчас не происходит. Ещё я считаю, что четыре совершенно разных человека никогда не могут договориться. Они могут сделать вид, что договорились, пойти на компромисс, согласиться с точкой зрения одного из них, наиболее вербально активного в данный момент времени – но это согласие не будет глубинным и по существу, а наоборот, будет поверхностным, сглаживающим углы и шероховатости. Просто тот,

чью точку зрения принимают остальные, проявляет наибольшую активность и настойчивость. По той простой причине, что для него, для того, кто проявляет наибольшую активность в навязывании своей точки зрения, всё происходящее просто-напросто гораздо более важно, чем для троих остальных собравшихся. Вот. *И зачем он с нами это сделал, непонятно.*

– Это камень в мой огород? – спросил Фогельсон. – В таком случае, я не понимаю, почему ты до сих пор продолжаешь со мной общаться.

– С тобой интересно общаться, – сказал я и отжал кнопку.

– Ты всё? – спросил Ипатов.

– Пожалуй, – ответил я.

Потом мы поменялись местами на ковре и стали сидеть молча. Как-то вдруг стало не о чём говорить. Каждый молчал о своём. Не помню, о чём именно я молчал, а, скорее всего, как раз именно я молчал просто так. Впрочем, вполне вероятно, что просто так молчали все. Только девушке Сабине вдруг стало холодно и она стала кутаться в плед, который я ей любезно предоставил. Было такое чувство, будто что-то к нам приближалось, что-то странное, бывает такое ощущение, что вот-вот что-то произойдёт, и этого не избежать, как бы ты ни прятался и ни пытался рационально мыслить. Я был в ловушке. Я понял это как-то внезапно, сразу и резко. Если до этого мои мысли плавали вокруг этого факта, осторожно его огибая, но не вдаваясь в него, как неопытный пловец не решается бухнуться в заведомо глубокое место, хотя бы даже он и был уверен в своих относительных силах, то теперь этот самый пловец зажмурился, подбадриваемый взглядами пляжных красоток, набрал полную грудь воздуха и, панически подпрыгивая и ненужно молотя всеми конечностями по воде, всё-таки плюхнулся в омут. Я не был уверен в том, что ловушку мне подстроил один отдельно взятый Фогельсон. То есть, это был один из вариантов, и притом не самый страшный. Ещё одним вариантом был сговор всех без исключения собравшихся, не исключая и девушки Сабины, с целью порабощения моего бедного мозга превосходящими силами противников. Для чего им это было нужно, не имело значения. Каждый из трёх как по нотам разыгрывал свою партию, тщательно отслеживая все мои ходы и предупреждая любое моё движение, любую попытку к спасению. Мне оставалось единственное – попробовать запутать их нестандартными действиями.

Я перекувырнулся через голову, что было достаточно больно, потому что ковёр у меня безворсый, просто гладкий, кажется, это называется «палас», если быть терминологически точным. Я уже говорил о нём, кажется.

– Ты что? – спросил Фогельсон.

– Это не я, это вселенная, – сказал я.

– И что с ней? – уточнил Ипатов.

– Она вращается.

– Разве ты не знал об этом раньше? – спросил Ипатов.

– Это не важно. Вы вот что поймите. Ведь, если она вращается, и если начать тоже вращаться, и попасть с ней в определённый резонанс, то можно многого достигнуть.

– Например? – спросил Фогельсон.

– Например, можно начать передвигаться по пространственно-временной оси в противоположном направлении, иначе говоря, вспять. Можно будет перемещаться во времени. Если поймать нужный резонанс, то машина времени станет объективной реальностью. И мне даже удивительно, что никто до сих пор этого не понял. В действительности, это элементарно просто.

К моему удивлению, моё заявление было воспринято присутствующими с неожиданным энтузиазмом.

– А почему ты думаешь, что нужно вращаться? И именно вот так? – спросил Фогельсон, который всегда был готов к восприятию нового знания.

– Не обязательно. Можно представить себя велосипедом.

– И что?

– Тогда это может получиться ещё проще.

– Ты это вычитал это где-то? – спросил Ипатов.

– Приблизительно, – сказал я.

Девушка Сабина развернулась из пледа и попыталась представить себя велосипедом. Маленьким таким, красным, трёхколесным. У моего двоюродного брата был такой в детстве. У неё достаточно неплохо получилось. Фогельсон и Ипатов ничего не стали представлять. Точнее, Фогельсон попытался представить себя кактусом – но у него ничего не вышло.

– Почему-то кактусом легко себя представлять в Мексике. Там, где они растут. То ли в силу наглядности, то ли ещё почему, – сказал он. – А в здешних широтах никак невозможно. Это к вопросу о воздействии среды.

– А ты бывал в Мексике? – спросил недоверчивый Ипатов.

– Приходилось, – уклончиво ответил Фогельсон.

– И что ты там делал? – спросил Ипатов.

– Проникался силой духа, – объяснил Фогельсон. – Есть такие страны, где эту силу духа можно почти черпать, пить из воздуха. Она там как-то сама сочится, только подставляй поры.

– Ты её порами впитывал, да? – спросил я.

– Да. Лежал на песке и впитывал, – сказал Фогельсон. – В том числе и там я понял, что в жизни нельзя оставлять недоделанных дел. Что прежде чем переходить к следующему предприятию, необходимо закончить предыдущее. И тогда я твёрдо решил найти вас и попробовать вас убедить в необходимости закончить наше дело.

– Да дела-то и не было никакого, – решил, наконец, сказать я.

– Было! – заорал Фогельсон и закурился на одной ноге вокруг собственной оси. – Почему вы никак не хотите признать, что дело было? Что вам мешает? Вы не выглядите людьми, побеждёнными бытом настолько, что он полностью подавил вас, ваши творческие порывы – и я не понимаю. Я на самом деле не понимаю, почему вы так поступаете.

– И порывов-то никаких тоже не было. Никогда не было, – сказал я злорадно. – Понимаешь, это правда. Не было дела, не было порывов. Были три молодых лоботряса, которые пытались самоутвердиться хоть так, раз не могли сделать этого никаким другим способом. Мы не умели зарабатывать деньги – да и сейчас не умеем. Мы не умели делать что-то общественно полезное. Ни один из нас не мог бы выточить на токарном станке ни одной полезной детали. Даже актов творчества, на которых ты всё время настаиваешь, мы и то неспособны были произвести. И сейчас неспособны. А самое главное для человека – это оправдать собственное существование. И вот мы собирались и делали какой-то вид. Чтобы возвыситься таким образом над, как мы считали, серой и однородной массой. Но это всё – пустота. Пшик. И тогда, а тем более сейчас. Тогда мы могли хотя бы поддерживать друг в друге иллюзию искренности этих наших трепыханий. Сейчас и этого не осталось. Я полагаю, что достаточно врать хотя бы в этом. Можно с гораздо большей для себя пользой врать в разных других элементах бытия.

– Никогда не поверю, – сказал Фогельсон, – что вы действительно так думаете.

Ипатов взял яблоко и метко запустил Фогельсону в лоб.

– Мы разные, – пояснил он. – Нас опасно воспринимать как единое целое.

Время шло и шло, и не кончалось. Практически уже кончился ковёр, кончилось яблоко и все его огрызки, близка к окончанию была иностранная девушка Сабина, а такое ощущение, что прошло всего минут сорок, не больше.

Фогельсон не обиделся на яблоко. Он только потёр лоб рукой и виновато улыбнулся:

– Я исключительно в целях собственного удобства. Всё время забываю, что это может кого-то обижать. А у вас действительно нет желания заняться творчеством? Никакого-никакого?

– Нет, – сказал Ипатов. – У меня есть желание определить на лето жену и детей. Правда. Чтобы не очень дорого, но достойно. И самому можно с ними тоже туда определиться. А с другой стороны, можно и отдельно определиться. В каждом из двух вариантов есть своя прелесть.

– А у тебя много детей? – спросил Фогельсон.

– Достаточно, – уклончиво ответил Ипатов.

– И как ты их воспитываешь? – спросил Фогельсон. – Или ты не принимаешь участие в воспитательном процессе, потому что считаешь, что это целиком женская прерогатива?

– Ловко ты, – восхитился Ипатов. – Мне так нравится, когда ты за меня объясняешь мне мотивы моих же поступков. Но вообще-то я принимаю некоторое участие в воспитании детей. Я считаюсь для них авторитетом. Как все папы. И я этим своим авторитетом на них давлю, объясняю, что правильно делать, а что неправильно.

– А как ты сам определяешь, что правильно, а что неправильно?

Меня всегда восхищала в Фогельсоне нечеловеческая упёртость в достижении собственной цели. Если он решал что-то, то кто угодно мог как угодно противиться его решению – и всё равно, в конечном итоге, не мытьём так катаньем, делал именно то, к чему Фогельсон и собирался побудить с самого начала. Так и в тот день. Был у человека план закончить начатое – и он упорно возвращался к проблематике, о которой мы, казалось бы, и думать забыли семь последних лет. Решил человек, что использует наши мозги и речевые центры в своих корыстных интересах – и он их использовал, стараясь любую возникающую ситуацию повернуть именно туда, куда ему нужно было.

– Я как определяю? – переспросил Ипатов. – О, а вот это очень по-разному. Кое о каких правильностях и неправильностях на меня в детстве тоже надавил авторитетом отец. О других я вычитал в книжках – ну, когда я их ещё читал. По поводу каких-то третьих неправильностей мне подсказывает моя интуиция. У меня чертовски развитая интуиция. Не вру. Правда.

– А ты как считаешь? – Фогельсон обратился ко мне.

Я встал и ушёл в угол комнаты:

– Я не буду больше отвечать на твои вопросы. Я не хочу потворствовать твоим мерзким целям. Ты собрал нас тут, чтобы использовать наши мозги. Ты хочешь записать на свой дурацкий диктофон секретные коды наших личностей. Я знаю, я читал. Ты сам мне об этом рассказывал. По принципу звукового двадцать пятого кадра. А потом ты налепишь из них матриц – и пойдёшь сшибать деньги и научные сенсации. Я не согласен, моя личность слишком уникальна, чтобы выпускать её в массовый тираж. Нет. Я отказываюсь отвечать.

– В таком случае, я могу уйти, – сказал Фогельсон. – Вы, как всегда, передёргиваете мои слова.

– Ну что, тебе, морду набить, что ли, – огорчился Ипатов. – Когда ты запомнишь, что мы два разных человека? Даже три, если брать Сабину.

– Это не принципиально, – сказал Фогельсон, приоткрывая свою подлинную сущность. – Все люди, если уж мы говорим о науке, действительно сводимы к чередованию долгих и коротких импульсов. Точки-тире, если

хотите. Может быть, только капельку более сложно. Ваши импульсы в моём сознании резонируют и сливаются. Поэтому я часто обращаюсь к вам вместе. На самом деле, я мог бы взять, разложить ваши импульсы на компьютере, создать такую программу, которая бы управляла вашими сознаниями, зарядить её – ну хоть в мобильный телефон – и произвольно вызывать у вас различные эмоции, заставляя вас совершать различные действия. Мог бы сделать так, чтобы вы разучились воспринимать сиреневый цвет. Я уже проделывал такое с одним своим знакомым. Это вполне удавшийся эксперимент. Он раз и навсегда прекратил воспринимать сиреневый цвет. Точнее, до тех пор, пока я ему не верну эту функцию. Но – но – но. Я этого не делаю. В смысле, с вами не делаю. Потому что хорошо к вам отношусь, потому что я думал, что вы мои единомышленники. Мне казалось, что мы единственные три живых человека в этом городе зомби. Вы не замечаете, что этот город зомбирован до предела?

– Нет, – сказал я.

– Зомби носят одинаковую одежду, слушают одинаковую музыку, живут одинаковой жизнью. Зомби платят по одинаковым счетам одинаковыми деньгами. Неужели вы этого не видите? Я смотрю на это – и всё внутри меня переворачивается и восстаёт. А ведь одним сознательным усилием воли можно перевернуться и стряхнуть с себя эту нелепую зомбификацию. Почему же люди этого не делают?

– Не знаю, – сказал Ипатов. – Видимо, у них нет разных денег. Разные могут быть причины.

– И, кстати, – сказал я. – Ты, вроде бы, уходить собирался?

– Если ты меня гонишь, – сказал Фогельсон, – то я, конечно, уйду.

– Я не то чтобы гоню, – сказал я, как всегда, в последний момент пойдя на поводу у каких-то общепринятых правил приличий, – но время уже позднее. Спать остаётся всё меньше, а спать – ведь это здорово. Ты же любишь спать, наверняка. Такие люди, как ты, должны любить спать.

– Такие люди, как я, это какие? – спросил Фогельсон.

– Творческие, творческие и исключительные, – сказал я, аккуратно выпивая Фогельсона в прихожую. – Давай я тебе такси вызову.

Девушка Сабина тоже решила ехать. Мы вызвали два такси и они, удовлетворённо-неудовлетворённые, отчалили. Тогда и Ипатов тоже засобирался.

– Проводи меня, – зачем-то попросил он.

– Докуда? – спросил я.

Смысла провожать его не было вообще никакого, потому что он жил очень далеко от меня, а общественный транспорт уже не ходил, ввиду позднего времени суток. Не пешком же он домой собрался идти.

– Хоть до ларька. Я сигарет куплю, покурим и будем думать, что дальше делать.

– В смысле – сейчас или вообще дальше?

– И то, и другое.

И вот мы, вытягивая ноги, как две осторожные цапли, двинулись к ночному киоску за сигаретами.

– Знаешь, я не умею играть на гитаре, – сказал мне Ипатов. – И ни на чём вообще не умею играть. Но на гитаре особенно не умею. И мне это очень жалко. Потому что бывают такие минуты, когда хочется петь. Хочется подыгрывать себе на гитаре и петь. На гитаре – потому, что это наиболее удобно, наиболее портативно и традиционно. У тебя бывают минуты, когда тебе хочется петь?

– Сколько угодно, – ответил я, старательно вытягивая ногу, чтобы она падала в такт с ногой Ипатова.

– И что ты тогда делаешь, когда такие минуты к тебе приходят?

– Не знаю... Пою, наверное.

– А ты хорошо поёшь?

– Ну, как тебе сказать. Мне кажется, хорошо, а другим не очень нравится.

– А ты на чём-нибудь себе подыгрываешь?

– Нет. Я, как и ты, ни на чём играть не умею.

– А я и петь не умею совсем. Когда выпью много, тогда только и пою. Но тогда это инстинктивно и как-то так... без внутреннего желания получается. Положено так, что ли. А вот на трезвую голову хочется иной раз запеть, а не могу. Не умею и стесняюсь. И потом, я не люблю песни а-капелла.

Мы добрались до ларька, Ипатов купил сигарет, и теперь стояли возле ларька, попирая ногами ни в чём не виноватую скамейку, и разговаривали. Должно быть, мы никуда не торопились. Из-за кустов напротив ларька – где маленькая заасфальтированная горочка, за которой скамейки, там обычно мужики собираются пиво пить, а то иногда одеколон, а ещё дети, когда на велосипедах катаются и на этих своих, как их, отдыхать садятся – так вот оттуда доносился монотонно-унылый мужской голос, повторявший, никак не меняя интонации, один и тот же вопрос, неизвестно к кому обращённый.

– Возможно, ему тоже хочется петь, – сказал я.

– Нет, тут другое, – решительно возразил Ипатов. – Тут совершенно другое.

Скейтбордах, да, конечно.

Потом Ипатов пошёл ночевать к какой-то подружке. То есть, он вдруг вспомнил, что у него тут, в этом районе, живёт какая-то малопривлекательная подружка, у которой, тем не менее, можно переночевать. Я сказал, что с таким же успехом можно переночевать и у меня, но Ипатов посмотрел на меня очень странно, как на младенца или сумасшедшего. И ушагал к подружке, по-цапельному оттягивая ноги. Я пошёл в кусты к мужику, но его там уже не было. Вообще никого не было. Стояли пустые грязные скамейки, ночной воздух пронзительно пах поздней осенью, было холодно и как-то неуютно. Я закурил оставленную Ипатовым сигарету и сел на скамейку. Обычно в таких ситуациях следует долгий рассказ о том, про что думал источник повествования и как ему мнилось в ночи дали грядущего. Но я ни о чём не думал. Честное слово. Просто сидел на скамейке, наклонясь вперёд, и курил сигарету. Погода была сухая, но от прошлых ночей на асфальте оставались подмороженные лужи. Я смотрел на одну из них и время от времени пробовал ногой хрупкий лёд. Лёд подавался, моя нога проваливалась и оказывалась посреди мутной ноябрьской воды. Впрочем, не поручусь за ноябрь – погода в наших широтах такая ненадёжная, что это вполне мог быть и декабрь, и даже январь. Минут через двадцать ко мне подсел странного, какого-то гоголевско-достоевского вида молодой человек с большим чёрным футляром. Молодой человек носил жидкий хвостик волос, нервно-грязную бородёнку, и имел вид безусловно задумчивый и неприкаянный, как и положено всем лишним людям классической русской литературы, которые одни только и не спят по таким ночам.

Вопрос, который повторял уже отсутствующий мужик, был удивительно созвучен моему тогдашнему настроению:

– Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу?

– Сидишь? – спросил меня достоевский молодой человек.

– Сижу, – ответил я.

– Из дома, что ли, ушёл?

– Никак иначе я не могу охарактеризовать своё состояние. Именно ушёл из дома и пока ещё не вернулся.

– А что, есть планы возвращаться?

– Ну, на работу всё-таки завтра. Нужно спать, наверное, ложиться.

– А она? – загадочно спросил молодой человек, зажав футляр между ног.

– Вы кого конкретно имеете в виду? – не понял я.

– Жена, – сказал молодой человек.

– Чья?

– Ну, твоя.

- В каком смысле? – уточнил я для надёжности.
- Ну, она тебя выгнала, а теперь, думаешь, спокойно даст вернуться?
- Меня никто ниоткуда не выгонял, – развеял я иллюзии молодого человека.
- Ты же сам только что сказал, что выгнали.
- Нет, я не говорил такого. Вы меня с кем-то путаете.
- Как это – путаю? Я спросил, выгнали ли тебя из дома, и ты сказал, что я угадал.
- Дело было не совсем так, – я посмотрел на лихорадочный профиль молодого человека. – Вы не спрашивали, выгнали ли меня, вы спросили, ушёл ли я из дому. С моей точки зрения, это несколько разного порядка явления.
- Так чего, ты сам от неё ушел?
- От кого? – снова не понял я.
- Да от жены.
- У вас какая-то навязчивая идея. Нет у меня никакой жены. Я просто ушёл из дома. Не от кого-то, а просто – из дома. И в любой момент могу вернуться. Вот, – показал я молодому человеку, – у меня и ключи есть.
- Значит, не от жены ушёл? – уточнил молодой человек.
- Да говорю вам, нет.
- Понятно. Хорошо тебе тогда, – сказал он.
- Не знаю. Не думал.
- А чего сидишь, мёрзнешь тогда? Чего домой не идёшь?
- Да не знаю. Гости были. Там прибраться нужно, а мне лень чего-то.
- Понятно. А у нас вот, – он показал на свой футляр, – квартет балалаечников.
- В смысле? – не понял я.
- Ну, естественно. Собираемся по вечерам и на балалайках играем. В плане искусства. Сегодня вот приподзнились что-то.
- Прямо на балалайках?
- Ну да. Не только, конечно. Мандолина тоже есть. Ложки. Окарина. Народные инструменты.
- Выступаете где-нибудь?
- Ну, как... Пока планируем. Но обязательно будем. Мы увлечённые. А если идея хорошая, то обязательно ведь получится. Как ты думаешь?
- Конечно. То есть, вы оркестр народных инструментов?
- Ну, типа в свободное время. Вообще я слесарь-механик. Кузова автотранспорта режу. А у тебя есть автотранспорт?
- Нету.
- А чего нету?
- Не знаю. Не накопил.
- Не то бы я тебе по знакомству со скидкой бы порезал.
- А зачем их резать?

– Ну, как зачем. Вот если в аварию попадаешь, кузов покорёжило, нужно старый срезать, а новый забачать. Можно, конечно, на заводе, если машина новая. А если не очень новая, к нам идут. Я режу, напарник новые бацает.

– Узкая специализация такая, да?

– В общем, да. Я так считаю – каждый должен выбрать себе какое-то маленькое дело, но делать его так, чтобы ух.

– То есть, вы только режете?

– Да. А напарник бацает.

– А по вечерам, значит, на балалайках?

– Не, это только я на балалайке. Напарник мой эти... корабли в бутылках делает. Знаешь такое?

– Видел.

– Так вот это он. Напарник мой, то есть.

Мой собеседник вдумчиво сплюнул и закурил.

– Меня вообще Семён зовут.

Я ответно представился и пожал ему руку.

– Слушай, – сказал Семён, – а хочешь, я тебя на репетицию возьму?

– Интересно, конечно. Только я ни на чём играть не умею. Мы как раз с другом только что об этом говорили.

– А это не обязательно. Главное, чтобы в душе музыка была. У тебя есть музыка в душе?

– Сложно сказать. Думаю, бывает иногда.

– Я сразу понял. Только посмотрел на тебя, как ты сидишь тут и гнёшься до земли почти – и понял. Но я ещё думал, что ты от жены ушел.

– Нет, от жены не уходил. Извините.

– У них, которые уходят, особенно громкая музыка в душе.

– А у меня громкая была, да?

– Ну да, я чего и подумал. Орала так, что в соседнем микрорайоне было слышно, наверное.

– И что играло, если не секрет?

– Ну, классика. Мусоргский. «Картинки с выставки», собственно. Слышал такое?

– Приходилось, – сказал я.

– Ты извини, я чего спросил, часто бывает, что те, у кого играет, не только не знают, что у них играет, а ещё и музыки такой никогда не слышали. Прикидываешь?

– Прикидываю, – сказал я.

– Мусоргский, значит, орал у тебя. Аранжировка хорошая ещё. Я дирижёра забыл. Но его аранжировка, факт. Я её наизусть с закрытыми глазами узнаю.

– А как же вы тогда умудрились дирижёра забыть?

– Да у меня с фамилиями вообще проблема. Музыка помню – любую мелодию на слух подберу за десять минут максимум. А фамилии – не помню ни фиги. Клиентов на бумажке записываю. А бумажки теряю, блин! – вдруг зашёл мой собеседник и выкрикнул последние фразы с каким-то азартом.

– Да, бывает, – осторожно посочувствовал я.

– Слушай, так ты хочешь попасть на репетицию квартета балалаечников? Такое часто не предлагают.

– Да, вы спрашивали. Думаю, теперь уже хочу. Только хотелось бы первоначально уточнить, какая там будет моя функция?

– Ну как... – Семён снова сплюнул. – Посидишь, послушаешь. Приобщишься. Нам разрешено иногда гостей приводить. По одному на лицо. То есть, разрешено всегда, просто мы редко пользуемся привилегией. А ты мне понравился. Аранжировка мощная. Вставай, пошли.

– А окарина там точно будет? – уточнил я.

– К окарине и идём, – заверил меня Семён. – Всё как раз у окарины дома происходит. У нас там база.

Вот так случилось, в конце этого странного вечера я продолжал находиться вне своего дома. То есть, сначала-то да, я находился вполне у себя, но не один. А когда ты хотя и у себя дома, но не один, ощущение какое-то не то. Даже если ты с барышней, на которую виды имеешь, всё равно не то. Даже если она ведёт себя идеально правильно, всё, как положено барышне с видами, всё равно нет той свободы. Хотя, возможно, я придираюсь. Суть же в том, что сон мой в тёплой кровати откладывался на неопределённое время.

Окарина жил в обыкновенном пятиэтажном доме с ядовито-жёлтыми стенами лестничных клеток, чахлыми кактусами на запердельных, прибитых на высоте баскетбольного роста этажерках и заваренным мусоропроводом. На фига его заваривают, никогда не мог понять. Удобная ведь штука. Вот взять бы того, кто решил его заварить, внутрь бы посадить и пускай с ним вместе и заваривают. Не понимаю я таких людей.

Мы шли пешком до седьмого этажа, тоже совершенно непонятно, зачем. Особенно если учитывать, что Семён был с футляром. Причём футляром каким-то явно не балалаечным, контрабасным каким-то по масштабам футляром. Однако, когда мы всё-таки добрались до квартиры окарины, и Семён раскупорил свой футляр, он извлёк оттуда именно что балалайку, обыкновенную, средних таких размеров балалайку.

Вместо самого окарины нас встретил невероятно старый и невероятно лысый пудель. Он исшоркал мне все штаны и обслюнявил Семёна, нагнувшегося его поприветствовать. Когда-то пудель был, бесспорно, чёрным, но от

этого времени теперь оставались только смутнейшие воспоминания. Бодрым голосом пуделя окликнули:

– Артемон – (ну конечно, а как ещё!) – кто там у нас?

– Это я, – ответил за пуделя Семён.

– Проходи, наши уже почти все в сборе, – ответил тот же бодрый, почти плотоядный голос.

Мы с Семёном прошли в кухню – и да, они были в сборе. Ради такого зрелища стоило проживать этот странный день. Сам окарина восседал за кухонным столом в лаптях, натурально, в лаптях и толстовской рубашке розоватого оттенка, сильно вылинявшей. В остальном ничего русского в его облике не присутствовало, отрекомендовался он скромно Исааком Арнольдовичем и показал мне свою окарину, предмет невероятной, судя по предварительным наблюдениям, гордости. Занятная штука, но не в моём, знаете ли, духе. Потом в кухне стоял мужчина, безумно похожий на Фёдора Михайловича Достоевского в момент перед наступающей падучей. Мужчина был серьёзно-мрачен, лыс и длиннобород, одет в тёмно-синий однобортный костюм с красным галстуком и держал двумя руками огромную бас-балалайку.

– Игнатъев, – представился он.

Представлялись они все, впрочем, чуть позже, когда освоились с моим появлением и когда Семён сгонял куда-то в комнату за уставом Квартета балалаечников, как они себя неустанно называли (все шестеро, присутствовавшие на репетиции не считая меня) и, помахивая этим самым засаленным уставом в воздухе, отыскал в нём пункт, согласно которому, действительно, разрешалось приводить с собой на репетицию гостя. По одному на брата.

– Ну, если согласно устава, тогда да, – уважительно согласился окарина.

– Тогда ничего не поделать.

– Тем более, у него внутри играет, – кипятился Семён.

В руках у единственной присутствовавшей дамы, особы лет, мягко говоря, пятидесяти восьми, с сальными нечёсаными волосами и в каком-то алло-пугачёвском балахоне восьмидесятых (как у Пугачёвой А.Б., в смысле, помните, такие длинные, белые и бесформенные, она в них распевала томным голосом «расскажите, птицы, что вас манит ввысь?», и выпускала голубей) годов, была, как бы это выразиться, ну, скажем, балалайка-пикколо. Микроскопическая, даже по сравнению с нормального размера балалайкой Семёна. Эта дама назвалась Валентиной Михайловной и обтрясла меня своими волосами.

Ещё одна балалайка нормальных размеров была в огромных руках рыжего мужчины с удивительно добродушным выражением лица, покрытого веснушками ото лба до самых до окраин. Он держал балалайку с такой осторожностью, будто во всякий момент она могла хрустнуть или лопнуть в его руках.

Про себя он сказал, что его зовут Палычем и он работает тренером по дзюдо, вслед за чем поделился со мной непристойным анекдотом, который я слышал раз около четырнадцати перед тем. Я из вежливости улыбнулся.

Наконец, на мандолине играл цыган преклонных годов, но с ещё бешеными глазами и пиратской серьгой в левом ухе. Из кармана его бархатного пиджака торчала початая бутылка чего-то невероятного, судя по запаху, которым оно отравляло всю творческую атмосферу, несмотря на то, что было аккуратнейшим образом заткнуто пробкой. Цыгана звали Яша, о чём сообщил мне окарина, поскольку сам Яша не удостоил меня общением, а только косился на меня недобрый глазом, словно гипнотизировал. Что бы Яша ни делал, его глаз неизменно рассматривал меня, ни на секунду не отрываясь. Впрочем, возможно его неадекватное поведение было вызвано тем, что окарина категорически запретил ему пить, сразу с порога, сразу, вместо приветствия.

– Мы сюда ходим искусством заниматься, – пояснил окарина, – а не застольничать. Вот отрепетируем, тогда пожалуйста, я и сам присоединюсь. А пока – чаю сколько угодно пей, а эту гадость держи в кармане, даже и не думай доставать.

– Я что, я что ж, – соглашался Яша, – я ну да...

Окарина вообще был в этом обществе явным авторитетом и пользовался таким положением напропалую. Именно он разместил меня на одном из свободных стульев в кухне, у самого окна, там, где «акустика лучше», и вообще, после страстной речи Семёна в защиту моего права находиться на репетиции, преисполнился ко мне симпатией мэтра к юному поклоннику. Мне позволялось даже то, что не позволялось всем остальным.

– Вы, если хотите, можете пить. У меня вино есть. Это нам нельзя, у нас репетиция, а вам – можно. Вы гость.

– Нет уж, я откажусь, не буду вводить вас в искушение, – сказал я под страдальческим взглядом Яши.

Некоторое время не начинали, ждали ложкаря. Он, как я понял из общей беседы, не отличался какой-то пунктуальностью и порой приходил на репетиции далеко за полночь, даром, что жил, по словам окарины, через два дома. И пока дожидались, окарина вёл со мною светскую беседу.

– Значит, так. Вас удивляет наше сборище?

– Нет, если честно, совсем не удивляет. Наоборот, радует. Очень хорошо, когда люди вот так вот собираются вместе, чтобы заняться любимым делом.

– Я же говорил, – не мог нарадоваться за меня Семён, как мать, гордящаяся талантливым чадом перед другими родителями на утреннике в детском саду.

Откуда им было знать, что я сам пришёл примерно с такого же мероприятия.

– Да, – сказал окарина. – Собираемся, значит, и играем.

– Ага, – сказал я. – Понятно.

– Объединены, так сказать, общей идеей, – сказал окарина.

– Ясно, – сказал я. – Это хорошо. Здорово, когда людей что-то объединяет.

– Ещё по партийной линии можно объединяться, – сказал неожиданно вмешавшийся в разговор Игнатъев.

– Сколько раз можно повторять, – раздражённо отчитал его окарина.

– Оставьте вы свою партийную агитацию для своих соратников. Сюда – сюда вы приходите служить искусству – и пушки пусть изволят заткнуться.

– Это да, – подтвердил Яша, поглядывая на меня.

– И часто к вам так на репетиции гости заходят? – осторожно спросил я.

– Нет, совсем не часто, – сказал окарина. – Если признаться, вы первый.

– Потому что Мусоргский, – вовсю пиарил меня Семён.

– Мусоргский там или кто, я не знаю, – сказал окарина, – но то, что первый – это факт, и его не оспорить. Мы и пункт такой в устав включили, по правде сказать, больше из уважения к традициям, к отцовским, так сказать, могилам. Но не зря, видно, включили, раз люди тянутся к прекрасному. Надеюсь, после вас и другие интересующиеся потянутся на наши репетиции.

Я задумался, тянусь ли я. Да, безусловно, тянусь. Однозначно, тянусь. Прекрасное тянет меня просто как я не знаю что. Никак без него.

– Я извиняюсь, – сказал Палыч виноватым голосом, – а Мусоргский – это ваша фамилия?

– Нет, – сказал я. – Моя фамилия другая. У меня такая нерусская фамилия. Джон Кейдж.

– Еврейская? – невинно поинтересовался Игнатъев.

– Как вам сказать... Скорее, англосаксонская.

– Но как вы хорошо говорите по-русски, – восторглась Валентина Михайловна.

– Родился здесь, такое дело, – объяснил я.

– А Мусоргский, Палыч, это великий русский композитор. Он написал оперу... эту... Ну, словом, несколько опер написал и ещё много всего, – наставительно пояснил руководитель квартета окарина.

– Простите, – покраснел Палыч. – Простите. Я ознакомлюсь. Обязательно ознакомлюсь.

– А вы вообще какую музыку слушаете? – спросил я. – Только ту, что играете?

Ложкарь заставлял себя ждать.

– Почему же? – сказал окарина. – Мы разное любим. Вот Аланис Моррисетт, к примеру. Очень мы её уважаем. Хорошо поёт девушка. Да? – обратился он со словами поддержки к коллективу.

Валентина кивнула головой, взмахнув сальными волосами и сделав вдумчивое лицо.

Поставили диск хорошо поющей девушки. Причастились, покивали. Игнатьев пытался подыгрывать на балалайке. Ложкарь всё не шёл.

– А ещё он сам музыку пишет, – сказал Игнатьев, имея в виду руководителя-окарина.

– И слова, – сказал Семён. – Замечательные песни получаются.

– Подождите, я как-то думал, что квартет балалаечников означает, по большей части, фольклорную музыку.

– Ну, да, фольклорную, – сказал Семён. – Эти песни он сам пишет, для сольных концертов. Он и бард. Иногда нам показывает.

– А как же, – подтвердил и Яша, хищно сверкнув на меня глазом.

– А можно что-нибудь услышать из собственного творчества? – спросил я, больше, конечно, из вежливости.

– Нет, извините, но нет, – твёрдо отрезал бард-окарина. – Я не разогреваюсь, извините. Это непрофессионально. На концерт приходите. Я вам контрамарочку оставлю. Хотите контрамарочку?

– Оставьте, – сказал я, опять-таки, из вежливости. – А где вы концертируете?

– В разных местах. Ближайший концерт будет в следующее воскресенье. В центре культуры, – сказал окарина со значением. – Сборный, вообще-то, концерт. Много разных бардов. Вы как вообще к бардовской песне относитесь?

– Хорошо отношусь, – сказал я. – Иной раз просыпаюсь и думаю, и чего я не бард... Так, знаете, постыло на душе становится, такая охота берёт к бардовской песне.

– Да, – довольно зажмурился окарина. – Бардовская песня – это не просто песня. Это такой, я бы сказал, стиль жизни.

– Вот я и говорю, – сказал я.

– А вы в армии служили? – спросил меня Палыч.

– Нет, не пришлось, – честно ответил я. – А что?

– Нет, ничего. Просто я служил. Никогда не забуду этот период биографии.

– Ты что, Палыч, выпил, что ли? – подозрительно покосился на него окарина. – Он, когда выпьет, всё время про армию начинает рассказывать.

– Нет, зачем же? Просто вижу, человек хороший, – пояснил Палыч.

– Воот. Говорил я вам, – Семён явно мне протезировал и гордился тем, что привёл меня в эту потрясающую компанию.

– А жена есть у тебя, сокол? – спросила Валентина, придвигаясь ближе ко мне.

– Мы уже обсуждали это, – ответил за меня Семён. – Он ушёл от неё. Недавно совсем. Оттого и Мусоргский.

– Извела она тебя, змеюка? – посочувствовала Валентина, взмахнув сальными волосами.

– Если вам так будет спокойнее, – согласился я.

– Однако что-то ложкарь наш не идёт, – явно тревожился окарина. Потом посмотрел на меня и вдруг засветился. – Знаете, а у меня идея.

В общем, несмотря на всё моё сопротивление, мне вручили комплект деревянных ложек и показали нехитрые движения, необходимые для извлечения из них мелодичного потрескивания.

– По науке это называется перкуссия, – просветил меня Семён.

Сначала у меня не слишком получалось. Но спустя какое-то время я приловчился и стал попадать в такт. И, скажу вам, мы играли. Именно мы. Я впервые ощутил неразрывность с коллективом единомышленников, окрылённых общей идеей и одним на всех вдохновением. Не знаю, что это была за музыка. Не знаю ни автора, ни жанра. Мне сказали импровизировать, и я импровизировал. Окарина ругался, подпрыгивал на стуле, убирал со лба потные пряди волос, потрясал в воздухе то окариной, то пустой ладонью, то импровизированной дирижёрской палочкой, под каковые нужды употреблялась серебряная десертная вилка. Лица участников квартета наполнились нездешним светом и безумной духовностью, они как будто заглядывали в какое-то другое измерение. Семён кричал что-то про Мусоргского, Палыч выразительно хэкал, как дзюдоисты во время проведения особенно эффектных приёмов, Валентина вдохновенно махала сальными волосами, Яша залиvisto свистел в сложных местах, Игнатьев высовывал изо рта язык сантиметров на семь, у нормальных людей язык в принципе на столько не высовывается. Часам к трём ночи мы достигли удовлетворившей окарину гармонии. Он долго благодарил всех, тряс руку, целовал Валентину в лоб, говорил о том, какие мы все жутко талантливые. Потом мы отдувались и пили чай ещё часа полтора. Потом я пошёл домой. Семён проводил меня почти до самых дверей и предложил заходить ещё. Я ответил туманно, зная, что больше никогда, скорее всего, не появлюсь в этой невероятной квартире. Потому что я считаю, что минуты счастья и запредельного удовольствия нельзя клонировать искусственными путями.

Но зато теперь, спросите меня, бездарно ли я прожил свою жизнь, и я с полным сознанием своей правоты отвечу вам в отрицательном ключе.

И крики «*Что я могу*» больше не тревожат мои ночи. И тем более, дни. Отныне я пойду по жизни совершенно довольный собой, не останавливаясь и не размениваясь на необязательные мелочи. Я пройду мимо вас и, возможно, даже не подмигну. Лицо моё («лице», как говорится в священных книгах) будет серьёзно и сосредоточенно. Разные пустячные тревоги больше не смогут сильно задеть меня. Шаг мой будет широк, а поступь уверенно-пружиниста. Глаза мои будут пронзать мраки ваших ночей взглядом волка-оборотня, ледящей душу тени в поисках неуверенных жертв. Но не надо меня бояться, я не трону слабых. Мне это не нужно. Я просто пройду молча мимо, повторяя про себя перечень своих кораблей.

Потому что Мусоргский. И потому что я имею опыт игры на перкуссии.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Они 7

Часть 2. Мы 39

Часть 3. План Б 75

Книжная серия «Воздушный змей: Первый полет» –
дебютные книги русских поэтов и писателей Эстонии

Ирина Мелякова
МУРАВЕЙНИК
Стихи

Дмитрий Краснов
ЛЕТНЕЕ ПЕРЕМИРИЕ
Стихи

П.И.Филимонов
МАНТРЫ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Стихи

П.И.Филимонов
ЗОНА НЕЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ
Роман

Книжная серия «Воздушный змей: Первый полет»



Адрес редакции:

Vanemuise 19
Tartu
Estonia, 51014

www.tvz.org.ee
tvzorg@hotmail.ee